A cubist painting of a wooden desk. In the upper right, a white analog clock with black numbers and hands is visible. A red paper object, possibly a flower or a piece of fabric, is partially visible above the clock. The desk surface is covered with various papers and documents, some of which are crumpled or folded. The painting uses a rich palette of browns, yellows, and blues, with sharp, angular lines characteristic of cubism. The overall composition is dynamic and layered, suggesting a sense of time and space.

ПРОСТРАНСТВО
И ВРЕМЯ РУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ

СТРАНСТВИЕ
ИДЕЙ

РУССКИЙ ХРОНОТОП

Проект портала
«РК. Пространство и время русской культуры»
<http://russculture.ru>



Странствие идей

Составитель,
ответственный редактор
Д. У. Орлов

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2023

УДК 930.85(470)
ББК 63.3(2)-7
С 831



Составитель, ответственный редактор:

Д. У. Орлов

Странствие идей / сост., отв. ред. Д. У. Орлов. – СПб.: Алетейя,
С 831 2023. – 228 с. – (Русский хронотоп).

ISBN 978-5-00165-711-8

Сборник новой серии «Русский хронотоп», задуманной и осуществляемой совместно с издательством «Алетейя», является книжным продолжением деятельности портала «РК. Пространство и время русской культуры» (<http://russculture.ru/>). Содержание данного сборника составляет тематический круг материалов, объединенных общим заглавием «Странствие идей»: публикуемые исследования демонстрируют ряд «срезов» времени – в диапазоне от Достоевского до Довлатова – и позволяют заинтересованному читателю погрузиться в подчас малоизвестные перипетии идейно-временного становления русского хронотопа конца XIX–XX в.

УДК 930.85(470)

ББК 63.3(2)-7

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

ISBN 978-5-00165-711-8



- © Коллектив авторов, 2023
- © Д. У. Орлов, составление, 2023
- © Д. Д. Ивашинцов, логотип серии, 2023
- © Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023

От составителя

Замысел серии «Русский хронотоп» заключается в стремлении предъявить заинтересованной читательской публике результаты многолетней работы оригинального исследовательского и культурно-просветительного проекта, который в своем развитии прошел два фазы. С 2008 по 2016 год в С.-Петербурге издавался альманах «Русский миръ. Пространство и время русской культуры» (главный редактор Д. А. Иваши́нцов), ставивший себе целью интегрировать в пределах одной площадки литературные феномены «материковой» России и русского Зарубежья (проза, поэзия, мемуары, дневники, фольклорные записи, письма, исследовательские статьи, эссеистика). За 8 лет вышло 10 номеров, а также более 20-ти самостоятельных изданий в «Библиотеке альманаха». После 2016 года формат бумажного издания сменился электронным порталом «РК. Пространство и время русской культуры» (<http://russculture.ru/>), который в целом унаследовал принципы открытости и неангажированности альманаха и разработанную им своеобразную рубрикацию публикуемых текстов. Для представления избранных материалов портала задумана тематическая книжная серия «Русский хронотоп». Понятие хронотопа рассматривается в контексте издания через идею несводимости разнообразия, гетерогенности культурных явлений к линейной преемственности или непрерывным линиям развития. Каждое явление обнаруживает принадлежность духу своего времени

и гнездится в конкретном культурном топосе, из которого можно обозреть другие топосы, но без непременно уязывания их в определенной прямой взаимосвязи. Хронотоп образуется не через смещение и уподобление явлений внешне похожих, а посредством чередования явлений разнородных и разнонаправленных. Как формулировал Виктор Шкловский в «Гамбургском счете» относительно литературного процесса, «черный кролик не смешивается с белым кроликом; не получается кролик серый, а в рядах получается то белый, то черный». Противостояние унификации, размыванию конкретной формы и погружению во всеобщую серость, — таков принцип, заложенный в понимание идейной рамки серии «Русский хронотоп». Первый ее выпуск под названием «Странствие идей» состоит из исследовательских статей, которые демонстрируют ряд «срезов» времени — анализ преступного сознания у Достоевского; нигилизм Николая Морозова и зарождение «новой хронологии»; анархизм Толстого, Кропоткина и Нестора Махно и русская утопия; А. Блок и попытка организации в послереволюционном Петрограде Школы журнализма; поэтическая топография русского Зарубежья; случай, судьба и сновидение у Хармса; герменевтика времени и мифопоэтика в поэзии Дмитрия Ивашинцова. Также впервые публикуется ряд писем С. Довлатова и Ю. Алешковского поэту Льву Друскину и его супруге. Все эти темы позволяют заинтересованному читателю погрузиться в подчас малоизвестные перипетии идейно-временного становления русского хронотопа второй половины XIX–XX вв.

Владимир Котельников

ПРЕСТУПЛЕНИЕ У ДОСТОЕВСКОГО

В омском остроге перед Достоевским человек впервые предстал как *проблема*, и вся сложность и современная острота ее начали открываться ему через событие *преступления*.

Он близко узнал преступников, принадлежащих к различным психическим и нравственным типам, наиболее колоритные из них стали персонажами «Записок из Мертвого дома». Однако преступность в его восприятии оказывалась зачастую не главным их определением и не закрывала от наблюдения их иное, внутреннее содержание. Наиболее внимательно вглядываясь в убийц, повествователь различал в них такие черты личности и проявления их натуры, которые было трудно совместить с их преступлением. Он обнаруживал доброту и наивность в разбойнике Нурре, «мягкость сердца», строгую честность, задушевность и ум в «милом» Алее, который вместе с братьями зарезал купца и его конвой, что не оставило в нем никакого следа. А в осужденном за отцеубийство арестанте его взбалмошность, легкомыслие, отсутствие видимой жестокости автор считал «зверской бесчувственностью» и, пытаясь объяснить ее, предполагал в нем «какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще не известное науке, а не просто преступление», добавляя, впрочем, что «не верил этому

преступлению»¹. Действительно, невиновность арестанта была доказана, о чем сообщал «издатель» «Записок...» (4, 195). Тем не менее, несмотря на это и, следовательно, на ошибочность возникшего поначалу предположения, Достоевский вообще допускал в человеке подобное «уродство».

Натура Петрова понятнее, но сложнее. Он был «самый решительный, бесстрашный и не знающий над собою никакого принуждения человек» (4, 84). «Искренне привязавшись» к повествователю, он задавал ему неожиданные вопросы и, в частности, интересовался обоими Наполеонами (что, возможно, нашло отклик и в будущем романе Достоевского). Вызывало удивление, почему он до сих пор не бежал, хотя «бежать сумел бы ловко». «Но, видно, — полагает автор, — он еще не набрел на эту мысль и не пожалел этого *вполне*. <...> Эти люди так и рождаются об одной идее, всю жизнь бессознательно двигающей их туда и сюда; так они и мечутся всю жизнь, пока не найдут себе дела вполне по желанию; тут уж им и голова нипочем» (4, 85). Тогда они — переносит автор этот тип в область ребеллярной активности — «вдруг резко и крупно проявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого, поголовного действия или переворота <...> Начинают просто, без особых возгласов, но зато первые перескакивают через главное препятствие, не задумавшись, без страха, идя прямо на все ножи, — и все бросаются за ними и идут слепо, идут до самой последней стены, где обыкновенно и кладут свои головы» (4, 87).

Захвативший тогда автора вопрос о преступлении побудил его задуматься и о скрытых от окружающих склонностях и стремлениях человека. Если такие преступники, как Петров, «срываются» почти случайно, под воздействием

¹ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972. Т. 4. С. 16. Далее при ссылке на это издание в скобках после цитаты указывается номер тома и страницы.

когда-то запавшей в ум «одной идеи» и вдруг возникших обстоятельств, то у некоторых людей, полагает автор, — возможно даже, у многих, в том числе и «джентльменов» — со дна их телесно-душевного организма иногда поднимается таившаяся там неудержимая жажда «крови и власти», делающая человека тираном и палачом. А «свойства палача, — утверждает повествователь, — в зародыше находятся почти в каждом современном человеке» (4, 155).

Но из всех известных автору причин и обстоятельств, из свойств человека и условий его жизни сущность преступления еще не объясняется. «Об иных же преступлениях, — признается рассказчик, — трудно было составить даже самое первоначальное понятие: до того в совершении их было много странного» (4, 87). Из совокупности всех своих наблюдений он смог вывести лишь одно заключение: «Да, преступление, кажется, не может быть осмыслено с данных, готовых точек зрения, и философия его несколько потруднее, чем полагают» (4, 15).

На пути к этой «философии» исследователю предстоит сделать один в самом деле трудный шаг, прежде чем заниматься этической и литературной трактовкой явления у Достоевского. Следует признать *необходимость* преступления, что выясняется только при рассмотрении его в полном антропологическом и историческом освещении.

Говоря о всеобщей *необходимости* преступления — деяния, нарушающего религиозные, моральные, юридические установления, мы имеем в виду тот очевидный факт, что оно не исключительное и тем более не случайное явление в человеческом мире, хотя и занимает в нем особое место. При том что мы, под влиянием гуманистических представлений и признанных нами за безусловные нравственных и правовых норм, воспринимаем его как чрезвычайное событие в узаконенном порядке вещей, — оно закономерно, ибо тесно связано с биосоциальной природой человека,

с формированием и развитием его этоса на праисторических и последующих стадиях. Противоправное, преступное побуждение и намерение убить возникают с определенной необходимостью в каждом индивидууме, хотя не всегда обнаруживаются (даже им самим) и не всегда осуществляются, что зависит уже от психофизических свойств индивидуума (впрочем, изменчивых) и от факторов внешних, нередко случайных, но ни то, ни другое не отменяет наличия и действия преступной потенции.

В осуществляемом преступлении нужно различать необходимость внеличностную, объективную, порождаемую не столько психической интенцией и волей индивида, сколько составом и влиянием природных, общественных сил; такая необходимость возникает, например, в условиях провоцирующей среды, под влиянием групповых этнических и социальных фобий, внутренних патологий и т. п. Разумеется, она не абсолютна и присутствует в совершённом деянии как одна из предпосылок его. И необходимость личностную, проистекающую из индивидуальных устремлений (корыстных, эмоциональных, моральных, идейных), которые в начале своем могут не иметь явно криминального характера, но, усиленные страстями, автономной аргументацией субъекта, ведут к преступным решениям и деяниям. Будем также отличать необходимость от неизбежности: опознанная и критически осмысленная необходимость может быть или подтверждена, или отменена субъектом; при других условиях преступление может стать неизбежным для субъекта, уже неподвластным его воле.

Широкий круг преступных деяний мы сужаем до одного — убийства; тем более что именно оно занимает важнейшее место среди событий и поступков героев в четырех романах Достоевского. Кроме того, предмет рассмотрения сводится к умышленному убийству, уголовному преступлению, которое квалифицируется как наиболее тяжкое

в юридическом и моральном отношении. Подразумевается исключительно *личное* действие, совершаемое в отношении другой личности не в целях самозащиты. Под эту квалификацию не подпадает убийство людей во время войн, восстаний, массовых столкновений, поединков, казней и пр. Здесь кстати заметить, что будущий юрист Раскольников, апеллируя к историческим примерам для оправдания своего замысла, пренебрегает разностью содержания этих квалификаций и их социально-исторического значения.

Убийство получает не одинаковый смысл и оценку, когда его рассматривают в ветхозаветном и историко-антропологическом контексте — или же с точки зрения новозаветной нравственности и гуманистической морали.

Первое в человеческом роде убийство не нарушило миропорядка, как это явствует из ветхозаветного рассказа о нем, ибо было в этом миропорядке заложено как *необходимое* следствие богоданной свободы. Каин убил брата потому, что «сильно огорчился» из-за предпочтения Богом не его дара, но Авелева. Бог провидел это и предупредил, что «у дверей грех лежит» (Быт. 4: 7). Причем сам Бог не проклял братоубийцу и даже воспретил людям вредить ему — право проклятия было дано лишь земле, которую возделывал Каин (земледелец — в отличие от брата, пастыря овец), воплотивший в себе второе последствие первородного греха, и потому, сказал ему Бог, «ныне прокляты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей» (Быт. 4: 11). Каин стал «изгнанником и скитальцем на земле» (Быт. 4: 12), однако нераскаянный и неприкаянный убийца нашел себе пристанище в благословенном месте — в земле Нод неподалеку от Едема и продолжил там род свой. Запрещающая убийство заповедь в Ветхом, а затем и в Новом Завете обращена к человечеству, уже принявшему необходимость в себе преступления и впоследствии пытавшемуся наложить ограничения

на него, придавая моральному велению заповеди еще и юридическую форму.

Христианская традиция видела в убийстве ближнего тяжелейший грех, нарушение высшего религиозно-нравственного закона, требующее покаяния и искупления. Гуманизм видел в убийстве опасное отрицание ценности личности, отрицание права на жизнь, разрушение общественного благополучия.

К. А. Степанян в статье «Макбет и Раскольников»² к рассмотрению идеологии героя и позиции Достоевского вполне уместно привлекает понятие «надъюрисдикционное преступление», введенное М. М. Бахтиным³. Здесь, однако, нужно уточнение. Ведь слово «преступление» исходно означает *переступание* через границу, которая отделяет область господствующего закона (религиозного, морального, юридического) от области, где личная воля освобождает себя от подчинения закону и сознательно или стихийно *преступает* его запреты. Но если нет четко очерченного поля, где действуют безусловные юридические нормы отношений одного человека к другому, то нет и такой границы, и, соответственно, нет переступания через нее, нет собственно преступления. Так было в архаических обществах, где убийство подлежащего смене властителя-отца или убийство угрожающих его власти сыновей-преемников не являлось преступлением, а было лишь действием, ускоряющим или замедляющим развитие таких обществ. Трактовка Бахтиным Макбета (в названных заметках) как «не преступника» отсылает именно к таким архаическим феноменам (и к «коллективному бессознательному»), поэтому здесь,

² Степанян К. А. Макбет и Раскольников // Независимая газета. 2015. 20. 08.

³ Бахтин М. М. Дополнения и изменения к «Рабле» // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1996. Т. 5. С. 85–86.

если уж и говорить о преступлении, как мы привычно определяем такие деяния с точки зрения позднейших морали и права, то о преступлении «доюридическом». Достоевский в подготовительных материалах к третьей редакции «Преступления и наказания» («Капитальное») записывает: «Во времена баронов повесить на воротах вассала ничего не значило. Убить своего брата — тоже. Следственно, натура подчиняется тоже разным эпохам» (7, 189). «Надюрисдикционным» можно называть преступление в отношении религиозного и нравственного закона.

Преступление Раскольникова должно квалифицироваться и как юридическое, и как внеюридическое — во всех названных видах последнего. При этом в убийстве именно *старухи* (она является объектом преступления, а сопутствующее убийство Лизаветы — это утяжеление греха и осложнение рефлексии героя, что необходимо автору) допустимо усматривать и архаический мотив вытеснения из жизни злоупотребляющего своим положением и властью предка. Позднее развивает этот мотив в обстановке Петербурга-Ленинграда Д. Хармс в повести «Старуха» (1939): там происходит окончательное устранение давно и многократно умирающей старухи, мучащей героя⁴. Общая тема

⁴ См.: Котельников В. «Звезда бессмыслицы» взошла над Петербургом (Творчество Чинарей и конец «петербургского периода») // Вопросы литературы. 2004. Ноябрь-декабрь. С. 132-133. Вполне очевидно, что содержание образа старухи у Хармса имеет своим источником не только фольклор, но и образы петербургских старух в русской литературе — старухи графини в «Пиковой даме» А. Пушкина, старух из Коломны в гоголевском «Портрете», старухи-процентщицы у Достоевского и, вероятно, старух-провозвестниц смерти в поэмах В. Хлебникова «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск» (обе 1921). Указывая на факт связи, исследователи почти не рассматривают общую семантику образного ряда или же склонны излишне психологизировать ее (см., например: Александров А. Чудодей // Хармс Д. Полет в небеса. Л., 1991.

геронтофобии в кратком, но экспрессивном изложении звучит в «Записках из подполья» (5, 100–101), вслед за чем криминальный парафраз ее дает Г. В. Иванов в повести «Распад атома» (1938): «Этих благополучных старичков, по-моему, следует уничтожать...»⁵. Внутри данной темы заключен мотив патрофобии, играющий, как известно, чрезвычайно важную роль в сюжетах и персоналогии Достоевского.

* * *

Особое внимание писателя к преступлению, к проблеме человека, преступившего законы, возникло, как сказано выше, в годы каторги. Затем сопровождалось оно и общественным интересом к этому явлению.

Комментаторы Полного собрания сочинений (1972–1990) указывают на ряд материалов, посвященных французским судебным процессам 1830–1850-х гг. и публиковавшихся в журнале «Время» (7, 334–335). Среди этих процессов выделялся суд над П. Ф. Ласенером, в примечании к отчету о котором Достоевский писал, что подобные процессы «занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимоходом, в виде эпизода <...> В предлагаемом процессе дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие инстинкты и малодушие перед

С. 43–44). Ср. также: *Савельева В.* Три старухи (к поэтике одного сюжета) // Литературные маргиналии. Межвузовский сб-к научн. трудов. Казахский гос. пед. ун-т им. Абая. Алма-Ата, 1992; *Макарова И.* «Старуха» как «петербургская повесть» Д. Хармса // Макарова И. Очерки истории русской литературы XX века. СПб., 1995. С. 130–143; *Печерская Т.* Литературные старухи Д. Хармса (повесть «Старуха») // Дискурс. Новосибирск, 1997. № 3–4. С. 65–70.

⁵ *Иванов Г.* Собрание сочинений: В 3 т. М., 1994. Т. 2. С. 6.

нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века. И все это при безграничном тщеславии» (19, 89–90).

Фигура Ласенера (Lacenaire, 1803–1836) знаменательна для посленаполеоновской Франции Бурбонов, для эпохи кризисов и торжества буржуазии в июльской революции 1830 г., когда личность с новой энергией осознавала и обосновывала свое право любыми средствами противодействовать обществу, переступать через моральные, социальные и юридические установления в преследовании собственных целей. Ласенер, писавший в тюрьме стихи и мемуары, незадолго перед казнью принимавший любопытствующих посетителей, рассказывавший о себе журналистам, выступал как герой своего времени — он смело реализовал индивидуалистическую идеологию в самых крайних ее формах. Литературные выражения этой идеологии были представлены в образах либертенов предшествовавшей эпохи (Октябрьн, де Франваль Д.-А.-Ф. де Сада), в персонажах Нодье, Бальзака, Стендаля и др.

Каков был путь Ласенера к преступлению, точно показал французский криминолог, генеральный инспектор тюрем Л.-М. Моро-Кристоф (Moreau-Christophe; 1799–1881) в книге, вышедшей как раз в пору повышенного интереса к таким личностям: Ласенер «холодно, некоторым образом философски доходит до того, что становится воров, фальшивомонетчиком, убийцей»⁶.

⁶ Moreau-Christophe L.-M. Le monde des coquins. Physiologie du monde des coquins. Paris, 1863. P. 196. Разбор этой книги был напечатан в «Русском слове» (1865. № 12), его автор Н. В. Шелгунов с присущей ему демократической тенденциозностью, вопреки подлиннику, перевел заглавие так: «Честные мошенники». Русские переводы книги, весьма неточные, появились позже: Кристоф М. Мир мошенников: Философия мира мошенников / Пер. с 2-го фр. издания Д. и Л. М., 1868; Кристоф М. Физиология преступлений. М., 1869.

В упомянутом комментарии говорится также о бельгийском математике и социологе Л.-А.-Ж. Кетле (Quételet, 1796–1874), чьи труды⁷ в те годы получили широкую известность и были предметом обсуждения в печати. Собранный Кетле большой фактический материал по европейским странам привел его к выводу о статистической устойчивости и определенной пропорциональности количества и видов преступлений и девиантных проявлений в массе населения, что, разумеется, вызвало немало публицистических откликов и привело к постановке новых вопросов о проблеме преступности.

Достоевский, принимавший участие в данном обсуждении и намеревавшийся обратиться к этой проблеме в романе⁸, возможно, был знаком с наиболее важным в этом плане сочинением Кетле «Du système social et de lois qui le régissent», в котором затрагивались волновавшие его темы. Так, Кетле полагал, что «подчас исток преступления находится в духе подражательности, в высшей степени свойственном человеку и обнаруживающемся во всем. Нет такого страшного преступления, которое не нашло бы подражателей, особенно, если публика обращает на него свое внимание». Он предлагает скрывать «эти язвы», «не потому только, что они оскорбляют и унижают социальное тело, но потому,

⁷ См.: *Quételet L.-A.-J. Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou essai de Physique sociale.* Paris, 1835; *Quételet L.-A.-J. Lettres sur la théorie des probabilités.* Bruxelles, 1846; *Quételet L.-A.-J. Du système social et de lois qui le régissent.* Paris, 1848. Русские переводы: *Кетле Л. О развитии нравственных и умственных способностей человека.* Пер. Г. Пейзен // *Современник.* 1858. № 8. С. 205–232; *Кетле А. Социальная система и законы, ею управляющие* / Пер. с фр. кн <ягини> Л. Н. Шаховской. СПб., 1866.

⁸ Об участии Достоевского в этом обсуждении в связи с замыслом и созданием «Преступления и наказания» см.: *Фридендер Г. М. Реализм Достоевского.* М.; Л., 1964. С. 150–166.

что они производят заражающее воздействие. Моральные болезни таковы же, как и физические: среди них есть заразные, есть эпидемические, есть наследственные». И поэтому предостерегал против героизации преступников, прежде всего в судах: «Убийца, который с твердостью несет голову на эшафот, становится также героем, у него находятся почитатели и очень часто рабские подражатели»⁹. Среди объяснений Раскольникова мелькнула названная Кетле причина преступления: «Ну и я... вышел из задумчивости... задушил... по примеру авторитета. И это точь-в-точь так и было!» (6, 319). Хотя «пример» относился не к уголовному преступнику, но важно само наличие героического «авторитета», совершившего убийство. Также и затрагиваемая Кетле тема болезни, сопровождающей или порождающей преступление, неоднократно возникает в романе, в том числе и в статье Раскольникова.

В третьей книге своего труда Кетле седьмую главу посвятил «высшим людям», в начале которой утверждал: «В настоящее время первенство принадлежит уму»¹⁰. И далее высказал мысль о названном типе людей, может быть, учтенную Достоевским в работе над романом. «Вообще можно сказать, — писал Кетле, — что только выдающихся качеств недостаточно для того, чтобы господствовать над массой и управлять ею по своей воле, если находиться вдали от нее; <...> Посмотрите на людей, игравших роль в истории и влиявших на массы; из какого бы социального слоя они ни происходили, они во многих отношениях представляли собой тип своего времени и воплощали в себе чувства и способности всех. Они составляли действительный центр тяжести всей системы. Зачастую эти люди сами

⁹ *Quételet L.-A.-J. Du système social et de lois qui le régissent.* Paris, 1848. P. 214–215.

¹⁰ *Ibid.* P. 279–280.

не знали об источнике своего величия и только потом, уготовив себе гибель, видели ошибку и замечали, что ушли от центра движения. Те же законы, управляющие всем и все регулирующие, обусловившие их могущество, становились затем причиной их гибели»¹¹.

Весьма вероятно, что Достоевский читал и названную выше книгу Моро-Кристофа, и она тем более должна была привлечь его внимание, что автор развивал свою мысль в острой полемике с В. Гюго — с его взглядом на преступления, которые писатель считал порождением нищеты и тяжелого положения народных масс, с либеральными надеждами Гюго на гуманность, просвещение и социальный прогресс.

По поводу патетических апелляций Гюго «Enseignement! Science!» («Просвещение! Наука!») в «Misérables» («Отверженные») и последующих его суждений Моро-Кристоф, признавая поэтичность таких пассажей, относил их к романтической риторике: «Все это лишь мишура и блески, прикрывающие всеобщее заблуждение, что в наиболее бедных и необразованных странах совершается более всего преступлений»¹². Напротив, утверждал он, исходя из множества фактических данных о преступном мире в его соотношении с состоянием общества, — в самых просвещенных и богатых странах «преступления с постоянством и фатальной регулярностью следуют за прогрессом промышленности и просвещения»¹³. И далее замечал: «Положительные цифры статистики фактов противоположны априорно высчитанной спекулятивной статистике идеологов и романтиков»¹⁴.

¹¹ Ibid. P. 281.

¹² Moreau-Christophe L.-M. Le monde des coquins. Physiologie du monde des coquins. Paris, 1863. P. 8.

¹³ Ibid. P. 9.

¹⁴ Ibid. P. 12.

В самом начале своей книги Моро-Кристоф, полемически обращаясь к произведениям Гюго «Miserables», «Claude Gueux», «Le dernier jour d'un condamné», решительно опровергал мысль писателя о том, что материальная бедность порождает преступления, и приводил доказательства того, что мотивы преступления лежат гораздо глубже. Бедность может толкнуть на преступление, но лишь вместе с аморальными причинами, которые «необходимо соединяются с бедностью вследствие стремления к роскоши, довольству или богатству»¹⁵. Самое страшное — «нравственная нищета», а она «идет следом за прогрессивным развитием умственного богатства и богатства материального в стране»¹⁶.

Тщательное исследование социальных и психических корней преступления привели Моро-Кристофа к весьма скептическому взгляду на современное знание (la science) как силу, претендующую единовластно руководить человеком в жизни, — в противоположность другим духовным силам. «Что же такое знание, как не религия ума — без нравственности, без религии сердца!»¹⁷. Альтернатива, по Моро-Кристофу, одна: «Практика добра — вот подлинное знание. Всякое другое знание без нее есть опасное невежество. Никакое иное знание, кроме этого, не может предохранить ум человека от губительных галлюцинаций эгоизма»¹⁸. Огромный опыт общения с преступниками, знакомство с самыми мрачными сторонами жизни и человеческой природы позволили Моро-Кристофу понять глубину и масштаб поднятых им вопросов, ответов на которые, однако, он не видел. «Какой Эдип найдет и скажет нам слово о тех загадках, которые предлагает нам сегодня,

¹⁵ Ibid. P. 5.

¹⁶ Ibid. P. 10.

¹⁷ Ibid. P. 13.

¹⁸ Ibid. P. 14–15.

под страхом смерти, сфинкс новейшей цивилизации, вещая со дна позлащенных благ Нового Вавилона, так энергично описанных Эженом Пеллетаном?»¹⁹. Нет надежд у него и на спасительное влияние религии, в том ее виде, в каком она пребывает в современной Европе: «Христианство же сегодня, и особенно римский католицизм, находятся теперь в состоянии разрушения прежних идей, слов и вещей, и такое состояние не может не вести к моральной нищете душ повсюду, к материальной нищете тел — к двойной нищете, которая порождает убивающую нас “социальную чахотку”»²⁰. «Расстройству телесному, — убежден Моро-Кристоф, — всегда предшествует расстройство духа. И разврат (*la débauche*) чувств есть разврат мыслей»²¹. Тем не менее, в конце книги, в главе восьмой, содержащей «моральные выводы», ему не остается ничего иного, как указать на разум и добрую волю, которые все-таки способны совладать с пороками, ибо «не настолько же свободный человек склонен следовать дурным инстинктам по причине первородного греха или ущербности нашей организации, чтобы наш разум не мог их победить. Достаточно лишь, чтобы мы были неутомимы и тверды в своих добрых намерениях. <...> Тут и религия могла бы быть верным средством от искушения. Итак, хоть подчас свободная воля и поддается упорству страстей, но чаще превышает их и не зависима от причины, то есть от организации»²².

Суждения Моро-Кристофа, если они входили в ближний контекст продумывания темы и работы Достоевского над «Преступлением и наказанием», могли оказаться

¹⁹ Ibid. P. 22–23. Эжен Пеллетан (Pelletan, 1813–1884) — французский писатель и политический деятель.

²⁰ Ibid. P. 21.

²¹ Ibid. P. 22.

²² Ibid. P. 208–209.

определенными импульсами в творческом процессе, в движении мысли писателя и в создании текста.

* * *

Пушкинский Евгений в «Медном всаднике» отрекся от своего родового права участвовать в истории, стать, может быть, как его предки, ее деятелем. Уйдя в частное существование, он оказался непоправимо чужд истории, слившись с теми, кем она самовластно и безжалостно распоряжается. А, попав под удар судьбы, чью руку направила история, он поднял бунт, исполненный страха и безумия, против «строителя чудотворного», созидавшего Петербург и новую российскую государственность.

Раскольников теоретически прокладывает (а потом пробует пройти его на деле) обратный ход, словно пытается исправить ошибку Евгения. Лишенный родовых прав на участие в истории, он из низов частного, уединенного от всех существования, усилием личного ума и воли, выдвигает, в дальнем замысле, вопрос о *своем личном* праве на такое участие. Он отвергает постепенное — и поступенное — восхождение к тем ее высотам, где достигается властное положение в истории, ибо ему как нетерпеливому «русскому мальчику» нужно решить *свой* вопрос немедленно и окончательно, тем более что он имеет в виду не строительство жизни, а коренное ее изменение. В таких условиях исконные свойства человеческой природы и исторические прецеденты диктуют ему — как единственное необходимое орудие — насилие. Вслед за чем с той же необходимостью перед героем ставится вопрос о способности совершить его, что требует испытания в конкретном акте насилия — в убийстве.

Осознавая и аргументируя свое намерение предпринять такой шаг и доходя в этом до порога «окончательного» решения, Раскольников должен разрешить себе

необходимые для того средств — вплоть до тех, которые ему как человеку гуманистической эпохи представляются последними, самыми крайними. Вместе с тем он не просто убивает выбранную для его частной цели частную жертву, не просто осуществляет свою личную волю к преступлению — в своем деянии он актуализирует извечную *необходимость убийства* как действия, могущего радикально изменить закосневшее наличное существование и высвободить его из исторической рутины для дальнейшего развития²³. Уже на предварительном этапе работы Достоевский прописывает это со всей очевидностью — так, в подготовительных материалах к третьей редакции появляются обращенные к Соне слова Раскольникова: «Я хочу, чтоб *все, что я вижу, было иначе* <курсив мой — В. К.>. Покамест мне только это было нужно, я и убил» (7, 153). В основном тексте идея заявляется более категорично и экспрессивно: «Сломать, что надо, раз навсегда, да и только <...> Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!» (6, 253). Такое стремление, как было сказано, изначально и потенциально присутствует в природе человека, в его отношениях к людям, в его био-социальной генетике.

На данных антропологических основаниях необходимости преступления (в романе прямо не выводимых в область авторских объяснений и рефлексии героя) надстраивается мотивация (идейная, этическая, социально-бытовая), которая в опыте и сознании Раскольникова уже вполне рационально ведет к личной необходимости для героя убийства — именно это эксплицировано в замысле Достоевского и, соответственно, в романном сюжете.

²³ Ср. подобную функцию восьми убийств в «Гамлете» (среди которых совершённое королем каиново братоубийство), служащих расчистке жизненного поля для действия новых сил.

Концептуальную необходимость того, чтобы для всей последующей его внутренней эволюции герой совершил убийство, Достоевский обозначил уже в подготовительных материалах ко второй редакции в записи «Начало романа»: «NB. С самого этого преступления начинается его нравственное развитие, возможность таких вопросов, которых прежде бы не было. В последней главе, в каторге, он говорит, что без этого преступления он бы не обрел в себе *таких* вопросов, желаний, чувств, потребностей, стремлений и развития» (7, 140). В переводе на язык новейшей философской антропологии (М. Бланшо, Ж. Батай, М. Фуко) это означает, что персонажу для обнаружения и опознания собственной реальности как субъекта бытия необходим был трансгрессивный «опыт предела», «жгучий опыт», который обретается в «акте эксцесса» — в данном случае в убийстве.

Достоевский в центр такого необходимого, полагал он, человеку опыта поставил перед героем две познавательные задачи: конечного, предельного *самопознания* и такого же *познания Другого*.

В первой задаче Раскольникову необходимо получить ответ на главный для него вопрос с заключенной в нем беспощадной дилемматикой: «Вошь ли я, как все, или человек? <...> Тварь ли я дрожащая или *право* имею...» (6, 322). Он хочет и *должен* точно и не теоретически, а фактически знать, способен ли он властвовать над обстоятельствами и людьми и мог ли бы он изменить миропорядок, не считаясь с ценой такого изменения, чтобы тем самым сказать свое «новое слово» в истории. Переступая через традиционные моральный и юридический принципы как бессильные устроить жизнь на иных началах, он провозглашает действенным лишь принцип личного волевого вмешательства в ход жизни с необходимым инструментом такого вмешательства — насилием, объектом которого всегда являлись как массы, так и личности. Однако участие в социально-политических

формах насилия (военных, революционных) ради того, чтобы изменить мир, — вне рассмотрения Раскольниковова. Домогаясь личного права на участие в большой истории, ссылаясь на исторические прецеденты, как будто бы оправдывающие и санкционирующие его «предприятие», он обращает ближний запрос все-таки не к истории, а прежде всего к себе самому как субъекту необходимого для его опыта преступления.

Не убив, узнать ответ невозможно, а, убив, — невозможно отменить полученный ответ, изменить определение себя. Риск узнать отрицательный ответ осознается героем, но он идет на этот убийственный для него самого риск — и подтверждает конечный результат опыта: «Я себя убил, а не старушонку!» (6, 322). Логически связанным с таким итогом самопознания является сюжет «о воскресении Лазаря».

Ответ на вторую задачу заключен также в «опыте предела». Лишь убийство могло дать Раскольникову то, по замыслу Достоевского, необходимое, несомненное, уже *христианское* знание, что всякий Другой не есть объект среди прочих (объекты, вначале исчерпывающе определяемые как «старуха-процентщица», «человек-вошь» и т. п.), но есть *сущий Ты*, в своей человеческой качественности и ценности безусловно тождественный *сущему Я*. Всякий Другой нужен в составе мира для его полноты. И убийство Другого есть не только частное убийство Себя в своем сущностном единстве с Другим. Оно есть очередное злоупотребление богоданной свободой, еще одно покушение на замысел Божий о мире и потому не может вести к какому-либо благому обновлению его, но продолжает теми же средствами устраивать все ту же каиническую цивилизацию, первые вещи которой послужили орудиями первого убийства и последние способствуют тому же. Пройти путем Ветхого Завета необходимо, но нужно, пройдя его до конца, вступить в область Нового Завета — только в ней

человек может понять, как поступить ему со своей свободой и что нужно извлечь из «опыта предела». К познанию ценности *сущего Ты* Достоевский и приводит героя, поэтому в его признании Соне рядом с «Я ведь только вошь убил...» уже произносится не менее убежденно иное: «Да ведь и я знаю, что не вошь...» (6, 320).

Движение самоощущения и самопознания преступившего героя доводится до крайнего драматизма.

В тесную последовательность предшествующих преступлению мыслей и состояний Раскольникова автор в пятой главке первой части вводит разрывающий эту последовательность эпизод: в сюжете сна и в чувственном представлении о задуманном убийстве вдруг резко выступают невыносимость насилия и страх крови, органически присущие герою. На минуту возобладала натуральная нравственная личность, переживающая преступный замысел как «проклятую мечту» и «наваждение» и радующаяся свободе от «этих чар» (6, 50). В ней проявляется страдательно-пассивная сторона человеческой природы в герое, которая сталкивается с действенно-активной ее стороной. Последняя владеет автономным сознанием и волей Раскольникова и претендует на свободу любых моральных и практических решений. Побужденная древним стремлением прибегать к убийству как средству изменения миропорядка, вооруженная новейшей аргументацией, она направляет шаги и поступки героя уже как сила, не зависящая от всех иных его ощущений и мыслей. Между названными сторонами возникает «мучительная внутренняя борьба» (6, 57), длящаяся на протяжении романа.

Вскоре после убийства, после пережитых страха и бессилия, Раскольникова, по выходе от умершего Мармеладова, неожиданно охватывает «новое, необъятное ощущение вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни» (6, 146), которое скоро переходит у него в торжество над сомнениями,

«напускными страхами» и слабостью: «Царство рассудка и света теперь и... и воли, и силы... и посмотрим теперь!» (6, 147). И в то же время обостряется казнящая героя рефлексия, которая отражается позже в ретроспективном моменте прогностического знания о себе самом: «... и как смел я, зная себя, *предчувствуя* себя, брать топор и кровавиться! Я обязан был заранее знать... Э! да ведь я же заранее и знал! <...> потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее *предчувствовал*, что скажу себе это уже после того, как убью!» (6, 210, 211). Против такого саморазоблачения и самообличенья в Раскольникове вновь восставал человек идеи и воли, когда он, выдержав долгую «муку всей этой болтовни», решил «ее с плеч стряхнуть» и «убить без казуистики, убить для себя, для себя одного!» (6, 321–322). Тогда в нем вновь выростала прежняя вера в свою правоту: «Может, я *еще* человек, а не вошь и поторопился себя осудить...» (6, 323). Что достигает кульминации, когда Раскольников в разговоре с сестрой неистово отрицает преступление в убийстве «зловредной вши», отвергает раскаяние: «Не думаю я о нем и смывать его не думаю» и вынужденное согласие идти на «этот ненужный стыд» объясняет своей «низостью и бездарностью» (6, 400). Здесь безудержно вырывается из тела человечности вызревшее в нем из первобытного античеловеческого зародыша и разросшееся до идеомании преступное умственно-волевое начало: «Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!.. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления! Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь!..» (6, 400). А через несколько часов, идя целовать землю, которая приняла кровь Авеля и прокляла Каина, ее пролившего, он «ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь,

охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы» (6, 405). Однако и это не стало завершающим эпизодом его внутренней эволюции.

У Достоевского субъект преступления, когда он мыслит о себе, лишается устойчивой и правильной позиции в самопознании; он обречен на мучительное колебание между названными состояниями — и это часть его наказания. Более того: возникает как будто расщепление личности на два субъекта, мыслящих и действующих в ситуации конфликта между собой (к подобному положению приводит интенция преступления в сознании и поведении Ивана Карамазова).

В восприятии Разумихина Раскольников предстает таким, будто в нем «два противоположные характера поочередно сменяются»: то «великодушен и добр», то «надменен и горд», «холоден и бесчувствен до бесчеловечия» (6, 165). Достоевский углубляет эти «характеры» до двух разных личностных основ в герое, выражающих страдательно-пассивное и действенно-активное начала в его природе.

* * *

На подходе к большим романам складывалась главная для Достоевского нравственная проблема: возможно ли восстановление «человека духовного» (по слову апостола Павла) в современном человеке душевно-телесном — именно в таком, каким его теперь узнавал писатель?

В «Записках из Мертвого дома», определяя жажду «крови и власти» как тиранство, писатель полагал, что дойти до него может и «самый лучший человек», а вот «возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен» (4, 154).

В «Преступлении и наказании» Достоевский как христианин и гуманист все-таки решил *доказать*, что возможен. Доказательства писатель извлекает из самого же человека, проведенного по всем умственным и нравственным

ступеням к «акту эксцесса» и через то — к «опыту предела». Содержанием романа стало оправдание в преступнике человека через отысканную в нем возможность «полного воскресения в новую жизнь» (6, 421); в конце эпилога сообщается уже определенно, что Раскольников «воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим» (6, 421). Достоевский выступил блестящим адвокатом в этом и последнем романах (и не менее блестящим обвинителем в «Бесах»). В данных случаях Достоевский продемонстрировал высшую, если можно так сказать, этико-юридическую технику анализа преступлений и обоснования вердиктов.

Вся эта работа писателя опиралась, конечно, на христианскую традицию, развивавшую в новозаветном повествовании, в Предании, в агиографии и духовной литературе идею преодоления тварной греховности в человеке и приближения его к образу и подобию Божию. Первосюжетом был евангельский эпизод с покаявшимся разбойником (апокриф называет и его имя — Рах). Из двух злодеев, распятых вместе с Иисусом и поначалу «злословивших Его», один раскаялся и просил Христа помянуть его в Царствии Небесном, на что Спаситель отвечал: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). Такой переход от бездн греха, неверия, хулы на Бога к вере и спасению дается ценой страданий, искупающих содеянное зло, и ценою искреннего — среди мук и покаяния — исповедания Христа.

Событие исключительного значения для христианства; с ним раскрылась доступная и последнему грешнику благодать внутреннего перерождения, смена личной эсхатологической перспективы. Данный акт свободной воли к покаянию и свободной веры в спасение ставился чрезвычайно высоко. В акте преобразования собственной природы, в акте обретения блаженства в духе разбойник оказывается

даже выше апостола. «Когда Петр, верховный из учеников, отрекся внизу, тогда он, — говорит Св. Иоанн Златоуст о разбойнике, — находясь вверху, на кресте, исповедал (Христа)»²⁴. И Златоуст призывает «взять себе учителем разбойника, которого Владыка наш не постыдился ввести в рай прежде всех; не постыдимся взять себе учителем человека, который первый из всего рода человеческого оказался достойным жизни в раю»²⁵.

Апокриф находит своеобразное мистико-соматическое объяснение внезапному обращению разбойника: еще будучи младенцем, он болел и чудесно исцелился, когда вкусил молока Богородицы, проходившей в тех местах с новорожденным Иисусом во время бегства в Египет. Потом он вырос, разбойничал, но приобщение к святыне спасло его на кресте²⁶. Апокриф дает свою версию осуществления изначального Божьего замысла о человеке: в его тварной плоти, вместе с первородным грехом, есть зерно добра и правды, и неисповедимы пути и сроки его прорастания.

Сюжет о восставшем из греха в праведность — один из излюбленных в культуре, не утратившей связей с христианской традицией. В нем остро переживается идея благодатной свободы человека, противостоящей плену греха. Разбойник, преступник, принесший истинное покаяние, испытавший внутреннее преображение, всегда вызывал умиленно-восторженное отношение, был заметной фигурой легенд, фольклора, светской словесности. Народно-православный взгляд на покаявшегося преступника (высоко ценимый Достоевским) прост, скуп в средствах выражения;

²⁴ Творения Святаго отца нашего Иоанна Златоуста. СПб., 1899. Т. 2. С. 456.

²⁵ Там же. С. 457.

²⁶ Ф. Н. Глинка удачно использовал этот апокриф в поэме «Таинственная капля».

он избегает высказываться в сложных формах, в эффектных жестах, далек от всякой экзальтированности и религиозной дидактики. Если страшен грех и безмерно раскаяние, он чаще готов молча признать величие свершившегося и преклониться пред ним.

Характерна участь в мнении народном преступного князя Юрия Святославича Смоленского. Он прельстился красотой Иулиании, жены князя Симеона Мстиславича Вяземского, посягал на ее честь, но безуспешно; желая добиться своего, убил мужа, а когда Иулиания с ножом в руке воспротивилась насилию, Юрии изрубил ее мечом и велел бросить в реку. Н. М. Карамзин, излагая происшествие по Архангельской летописи, выносит «гнусному преступнику» беспощадный моральный приговор, уподобляет его Каину и между прочим сообщает, что после скитаний Юрии умер в одном дальнем монастыре. Для гуманиста-просветителя злодейство князя, престапующего все границы человечности, есть «гнусность», которая «могла постыдить век»²⁷, — более историку нечего сказать о судьбе Юрия.

Однако Троицкая Летопись (1407 г.) отзывалась о нем гораздо сочувственнее, рассказывая, как тот нашел пристанище «в монастыре у некоего Игумена Христолюбца, именем Петра, и ту неколико дней поболел, преставися»; летописец прибавляет, что «проводиша его честно». Видимо, Юрий Святославич принес великое покаяние, если его, пролившего кровь, изгнанного, лишённого власти и имения, погребали с почестями. Замечательнее же всего, что в Веневском монастыре, где он преставился и похоронен, преступный князь пользовался народным почитанием.

В каторжных преступниках упомянутые внутренние процессы были сомнительны для писателя, во всяком случае,

²⁷ Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1993. Т. 5. С. 103, 290.

невидимы. О видимых же ему последствиях преступлений в убийцах, автор, наблюдавший их в течение нескольких лет, заключает: «Я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении <...> большая часть из них внутренне считает себя совершенно правыми»; не было заметно никакой черты, «которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании» (4, 15). Преступление ни для кого из них, вероятно, не стало событием, потрясшим или хотя бы задевшим чувства, совесть; но не потому, что они были психически и нравственно ущербны. В них, в силу разных причин и под влиянием разных обстоятельств, нашла себе беспрепятственное применение склонность к насилию, готовность совершить убийство, что было свойственно их натуре и потенциально присутствует в человеческой природе. Вопрос лишь в том, насколько долог и сложен путь от побуждения до поступка. Зачастую он краток и прост (не только в случае аффекта)²⁸ и не обременен моральной и умственной

²⁸ Достоевский знал и непростые сюжеты преступлений; один из них изложил он, разбирая в «Дневнике писателя» в мае 1876 г. дело Каировой. «Убийство, если только убивает не “Червонный валет”, — есть тяжелая и сложная вещь. Эти несколько дней нерешимости Каировой по приезде к ее любовнику его законной жены, это накапливающее все более и более оскорбление, эта нарастающая с каждым часом обида <...> и, наконец, этот последний час перед “подвигом”, ночью, на ступеньках лестницы, с бритвой в руках, которую купила накануне, — нет, все это довольно тяжело, особенно для такой беспорядочной и шатающейся души, как Каирова! Тут не по силам время, тут как бы слышатся стоны придавленной» (23, 8). При этом она, «когда уже резала, то могла *еще не знать*: хочет ли она ее зарезать или нет, и с *этой ли целью* ее режет?» (23, 9). Как убеждается Достоевский, эта «бедная тяжкая преступница», безвыходно запутавшаяся в своих чувствах и поступках, «представляет из себя нечто до того несерьезное, безалаберное, до того ничего не понимающее, не законченное, пустое» (23, 8), что такая

рефлексией, которая и после преступления возникает весьма редко. В подобных случаях субъектная воля к преступлению совпадает с внеличностной необходимостью его, а нередко последней и порождается.

В романе же Достоевский сделал названные процессы несомненными до очевидности. Он ведет героя к людям и к себе самому наиболее крутой дорогой — через преступление, без чего не выстроить столь убедительную антроподицею.

По ходу сюжета писатель развивает тему свободы героя. В действенно-активной сфере своей личности Раскольников свободен умственно, широк идейно и смел. Но далее линии его мысли, освободившейся от всех предрассудков и «страхов напущенных», все определеннее сходятся в одном сужающемся направлении и ведут к необходимому решению переступить через все «слишком человеческое»²⁹. И он оказывается пленен чрезмерной, непосильной для него свободой, с которой он решает распоряжаться жизнями людей и своей в том числе. А в неотвратимо втягивающей героя перспективе преступления область свободы еще более сокращается, как известная шагреновая кожа. В преддверии же самого убийства у героя больше нет свободы, наступает царство необходимости. Так и у Ницше необходимость насилия и истребления всего непригодного для апофеоза жизни является в самом конце свободы.

На последней стадии герой, утратив свободу воли, под давлением неразрешимых для него коллизий увидел исход в абсолютном одиночестве и хотел бы вырваться

разбросанная ее натура как бы разлагает сложность ее преступного деяния на простые элементы, уменьшает тяжесть вины, и самым правильным исходом оказывается решение суда отпустить Каинову по приговору присяжных.

²⁹ Ср. подобную эволюцию свободы в образе Ставрогина.

из всесвязующих отношений любви, постулируемых Достоевским как основание человеческой общности. Но это уже угасающая в герое иллюзия над- и внечеловеческой свободы, когда Раскольников напоследок мечтает освободить себя от всех — и всех от себя: «О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого не любил!» (6, 401). Достоевский показал прежде и продолжал с возрастающей настойчивостью показывать, что герой был и остается любим многими (мать, сестра, Полечка, Соня, Разумихин) и сам способен любить и что преступление не отменяет любви, напротив — делает очевиднее ее силу, возрождающую и обновляющую человека после падения. Потрясенного событием преступления героя автор теперь может уверенно развернуть к спасительному пути. Что и требовалось доказать и с чем цель романа оказывается достигнутой.

* * *

Названный мотив ухода в отчужденное от людей одиночество получил эффектное развитие в двадцатом веке. Желание Раскольникова Альбер Камю в 1940 году перевел на язык современной ему трагической экзистенции, положив начало новому философско-антропологическому канону. Герой «Постороннего» («L'étranger») Мерсо, запертый в такой экзистенции и принявший ее как норму, уже действительно не нуждается ни в чьей любви и не имеет этого чувства ни к кому. Он, наследник западного индивидуализма, окончательно свободен в «ситуации отчаяния», и, согласно Кьеркегору, не считает ни нужным, ни возможным выходить из нее. Никакие события не меняют такого положения человека в мире, и долг человека — честно это признать. Смерть матери не трогает его, потому что «все здоровые люди желали смерти тех, кого они любили»³⁰.

³⁰ Камю А. Избранное. М., 1969. С. 91. Пер. Н. Немчиновой.

Он убивает араба потому, что так сложились обстоятельства его жизни. Преступление совершается не в целях чего-либо, но и не случайно, а потому, что в герое, отчужденном от всех субъекте, заложенная в нем интенция убийства необходимо осуществляется, не сдерживаемая в этот момент ни сознанием его, ни законами общества.

Герой рассказа И. А. Бунина «Петлистые уши» (1916) с поразительным знанием дела произносит пространные речи на эту тему. «Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости сидит, как вам известно, в каждом. А есть и такие, что испытывают совершенно непобедимую жажду убийства, — по причинам весьма разнообразным, например, в силу атавизма или тайно накопившейся ненависти к человеку, — убивают, ничуть не горячась, а убив, не только не мучаются, как принято это говорить, а напротив, приходят в норму, чувствуют облегчение <...> Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступлении без всякого наказания»³¹. И, перечислив многих исторических и литературных убийц, спрашивает собеседника: «Мучились все эти господа муками Каина или Раскольника?»³². После чего заключает: «Мучился-то, оказывается, только один Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы»³³.

Новейшая русская версия убийства, подобного убийству, совершенному Мерсо, представлена в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998)³⁴.

³¹ Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1966. Т. 4. С. 389.

³² Там же. С. 390.

³³ Там же. С. 391.

³⁴ На связь его с творчеством Достоевского указывается в статье: Степанян К. А. Человек в свете «реализма в высшем смысле» (Достоевский, Шекспир, Сервантес, Бальзак, Маканин) / Вопросы философии. 2014. № 5. С. 102–103.

Катастрофическому у Достоевского событию убийства, с его сильными идейными и моральными мотивациями, автор противопоставляет только психологически мотивированное убийство, совершенное не в состоянии аффекта, а в ряду других обычных поступков, не имеющее ни сложных предпосылок, ни значительных последствий в сознании и совести персонажа. Здесь дана скорее внеличностная, не-волевая необходимость преступления, а в точности понимания изображаемого человека и в реализме изложения мы не можем отказать автору.

Убийца, бывший писатель, человек хотя и опустившийся, но сохраняющий способность ясно мыслить, судить себя, имеющий развитые нравственные чувства, читал не названный им здесь роман, и признает, что «находится в зависимости не от самого убийства», а от воздействующего на него сюжета и имеет дело с «условной реальностью»³⁵.

После происшествия он «размышлял о *не убий*. (Самое время.) <...> Зато XIX век... и предупреждение литературы (литературой)... и сам Федор Михайлович, как же без него?! Но ведь только оттуда и тянуло ветерком подлинной нравственности. А его мысль о *саморазрушении убийством* осталась почти как безусловная. Классика. Канон. (Литература для русских — это еще и огромное самовнушение.)»³⁶. Нравственный урок Достоевского, признает герой, еще жив, но уже как «энергично выраженная художественная абстракция»³⁷. И вот заключение героя, уверенного, что он избавился от *того* сюжета, — героя, в котором Маканин литературно воплощает современного человека, пытающегося стать *вне* литературности: «Достоевский тоже ведь

³⁵ Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. М., 1998. С. 150.

³⁶ Там же. С. 165–166.

³⁷ Там же. С. 166.

и нас побеждал словами. Но как только Ф. М., с последним словом торжествовал победу, выяснялось, что победил он кого-то стороннего. Не меня. То есть побеждал лишь внутри, в полях своего текста: когда я читал. Внутри текста — но не внутри моего “я”»³⁸.

Для героя «та скамейка и та кровь не содержали в себе укора»³⁹. Вообще, уверен он, «ничего высоконравственного в нашем *не убий* не было. И даже просто нравственного — не было»⁴⁰ — и это отнюдь не выражение этического негативизма, это реальность героя и его времени. «Сожалеть — да. Но не каяться. Вот что отвечал я. Время любить, и время не любить. Время целить в лбешник, и время стоять на перекрестке на покаянных коленях. Мы, дорогой (говорила я *ему-себе*), скорее в первом времени, чем во втором»⁴¹.

Интересно сопоставить разработку темы преступления, именно убийства, в романе Достоевского с трансформацией той разработки у Р. Л. Стивенсона. В 1885 году Р. Л. Стивенсон прочитал «Преступление и наказание» (во французском переводе В. Дерели, вышедшем в 1884 г.; английский перевод появился только в 1886 г.). Роман произвел на Стивенсона сильное, почти болезненное впечатление; под его влиянием писатель в том же 1885 году создал рассказ «Маркхейм» («Markheim»), в котором воспроизвел сюжетную схему совершенного Раскольниковым преступления, ряд психологических подробностей и основную моральную коллизию романа.

Этот факт неоднократно отмечался — с разной степенью аналитичности — в работах Е. М. Eigner, Д. М. Урнова,

³⁸ Там же. С. 167.

³⁹ Там же. С. 166.

⁴⁰ Там же. С. 165.

⁴¹ Там же. С. 166–167.

Ю. П. Котовой, Г. В. Аникина, Р. Н. Поддубной и В. В. Проненко и др.⁴². Однако недостаточно проясненным остается существенное различие в понимании субъекта преступления в его состояниях и действиях Достоевским и Стивенсоном. На фоне прямых и намеренных литературных уподоблений, к которым прибегает английский писатель, данное различие особенно очевидно и значимо. Оно обусловлено стоящими за творчеством того и другого автора религиозно-этическими традициями и расхождениями в трактовке проблемы преступления и наказания — ее объема, социального и антропологического смысла.

В романе Достоевского преступление по своим истокам, значению, последствиям есть событие очень большого масштаба, отчасти даже гиперболизированное. Проблема преступления разветвляется, захватывает все стороны личности, пронизывает все области жизни, поэтому литературная ее разработка осложняется и расширяется до романного изложения.

Стивенсон исходит из того, что совершенное человеком преступление есть локальное нарушение равновесия в отношениях человека к Богу и к людям, а наказание —

⁴² См.: *Урнов Д. М.* Роберт Луис Стивенсон // *Стивенсон Р. Л.* Собрание сочинений: В 5 т. М., 1981. Т. 1. С. 34; *Аникин Г. В.* Идеи и формы Достоевского в произведениях английских писателей // *Русская литература 1870–1890-х годов.* Сб. 3. Свердловск, 1970. С. 20–21; *Котова Ю. П.* «Маркхейм» Р. Л. Стивенсона и «Преступление и наказание» // XXV Герценовские чтения. Литературоведение. Краткое содержание докладов. Л., 1972. С. 89–91; *Дьяконова Н. Я.* Стивенсон и английская литература XIX века. Л., 1984. С. 84–86; *Поддубная Р. Н., Проненко В. В.* Отражение творческого опыта Достоевского в прозе Стивенсона // *Филологические науки.* 1986. № 2. С. 28–35; *Eigner E. M.* Robert Louis Stevenson and the Romantic Tradition. Princeton University Press, 2015. P. 27, 30–33 (первое издание вышло в 1966 г.).

восстановление этого равновесия. Если преступивший осознает содеянное им как зло и принимает возмездие, нравственное и юридическое, он движется от зла к добру и искупает вину ценой своего главного личного достояния — свободы и жизни. Так разрешается проблема преступления и наказания для писателя, опирающегося на религиозно-этические постулаты пресвитерианства (а именно — шотландской версии кальвинизма) и на практическую мораль английского общества. Соответственно в его истолковании выпрямляется и сокращается (не только соразмерно жанру рассказа, но и в соответствии с концепцией автора) путь личности от преступного намерения и совершения убийства к нравственной самооценке, раскаянию и волевому выбору морально должного. Данное содержание без остатка укладывается в единичное событие, происшедшее с одним человеком и состоящее из серии физических и психических актов, сосредоточенных в автономной сфере персонажа в небольшом временном промежутке. Для ускорения и рационального оформления рефлексии героя вводится персонификация его сознания — в образе таинственно появляющегося «неизвестного». Начальная неопределенность его, «чуждого земле и небесам», моральная двойственность суждений отражают натуру самого Маркхейма, которого добро и зло влекли с равной силой. Хотя тут же, под влиянием логики «неизвестного», герой признает, что он «опустился во всем» и находится во власти зла; вместе с тем он пытается найти оправдание в обстоятельствах жизни, которые сделали его «грешником поневоле». Согласно своему пониманию человека, Стивенсон вводит непереносимое допущение о противоположном свойстве личности героя: его истинная суть, утверждает Маркхейм, не выявлена и известна только ему и Богу, и «письмена совести», скрывающиеся в глубине души, все-таки не истреблены

ложным разумом. Последнее испытание — предложение «неизвестного» довести зло до конца и скрыть преступление, убив вернувшуюся в дом служанку, — заставляет Маркхейма восстать против зла и обратиться к своему скрытому нравственному ресурсу: он принимает решение предать себя в руки правосудия.

Для собственного изложения взятой им у Достоевского проблемы преступления и наказания Стивенсону не понадобился роман, он счел необходимым и достаточным описать поступки и состояния персонажа в аналогичной ситуации в их сюжетной и психологической последовательности: намерение, убийство, страх, рефлексия, окончательный выбор. Ряд соответствующих эпизодов и литературно эффектных деталей составил небольшой рассказ и не предполагал иного жанрового развертывания. В этом объеме проблема преступления предстала разрешенной просто и бесспорно, поскольку она у Стивенсона относится — как в этом рассказе, так и в подобных сюжетах его повестей и романов (и произведений других английских писателей — Г. К. Честертона, Р. Киплинга, Г. Грина, У. Голдинга) — к сфере автономной моральной личности, которая устанавливает свои договорные отношения с Богом и обществом независимо от мировых событий и смыслов.

В следующих романах Достоевский переводит преступление из сугубо персоналогического плана в другие, более широкие содержательные планы, насыщенные сложной проблематикой, уходящей к дальним философско-этическим горизонтам. В «Идиоте» убийство Настасьи Филипповны необходимо как завершение губительного действия стихийных сил в женской природе героини действием таких же сил в Рогожине: они исчерпываются смертью первой и навсегда умиряются во втором — так требует телеология романа. Убийство не изображено, даны только его

последствие и предвиденье в письме Настасьи: «...я уже почти не существую и знаю это; Бог знает, что вместо меня живет во мне. <...> Я бы его убила со страху... Но он меня убьет прежде...» (8, 380). В «Бесах» преступления необходимы в предпринимаемом разрушении, чтобы пролитой кровью была упоена земля, на которой будет продолжено одержимыми наследниками Каина его братоубийственное дело. В «Братьях Карамазовых» убийство отца, будучи частным преступлением, в своих исторических и метафизических проекциях отсылает к мировому событию борьбы и смены бытийных фазисов, к смерти-рождению, и содержание романа разворачивается в отношениях к отцеубийству других персонажей: Дмитрия, приведенного страстями к покушению, Ивана, подготовившего убийство и полагавшего, что допустимо убивать отцов, но недопустимо — детей, и, наконец, осуществившего желания сыновей Смердякова. В названных романах имплицитно присутствуют входящие в «Преступление и наказание» и частично вскрытые там смыслы убийства; кроме того, сюжет Раскольникова преломляется в сюжете «таинственного посетителя» старца Зосимы в последнем романе.

Алексей Малинов

ИСТОРИЧЕСКИЙ НИГИЛИЗМ НИКОЛАЯ МОРОЗОВА

Ах, вы меня лишили мира? Хорошо же!
Вашего мира не было!

Юрий Олеша

Конечно, всякий из нас волен оспаривать истинность древней истории, с одним условием — обходиться без нее. Можно отрицать ее; но ничего не поставишь вместо нее.

Сергей Уваров

Первый русский историограф Василий Никитич Татищев делил историю по периодам «просвящения ума»: до изобретения письменности, от изобретения письменности до Иисуса Христа, от Иисуса Христа до «обретения теснения книг», и от изобретения книгопечатания до современности. С середины XV в. — время гуттенберговского открытия — начинается период современности, получивший название *модерна*. С точки зрения модерна, упрощенно, всю историю можно делить на современность и не современность, или на историю печатного и допечатного периодов. Современность для модерна обладает по отношению к другим историческим эпохам смысловым приоритетом. Она владеет научно обоснованной истиной, в то время как предыдущие поколения погрязли

в предрассудках. Фундаментальность изобретения Гуттенберга была по достоинству оценена потомками. Это даже дало повод пересмотреть всю историческую науку: если истина принадлежит современности, то истина истории — исключительное достояние эпохи книгопечатания и точных наук. Историография и философия истории XX в. знают несколько попыток пересмотра русской истории. С классовых позиций ее переписывали марксисты; взгляд на русскую историю с Востока предложили евразийцы; «естественно-научную» ревизию истории предпринимают последователи «новой хронологии».

Среди предшественников последней был Николай Александрович Морозов (1854–1946). Словарные статьи и многочисленные исследования о Морозове рисуют образ стойкого революционера и последовательного борца с самодержавием, члена кружка «чайковцев», «Земли и Воли», члена исполкома «Народной воли», одного из основных теоретиков терроризма, участника покушений на императора Александра II. Вместе с тем, революционная деятельность Морозова постоянно переплеталась с научной работой. Человек необычайно даровитый, энциклопедически эрудированный, знавший двенадцать языков, Морозов был оригинальным ученым, оставившим многочисленные исследования по химии, физике, математике, астрономии, лингвистике, истории. По многоплановости и разнообразию затрагиваемых проблем с Морозовым сопоставимы, пожалуй, только А. С. Хомяков и А. А. Богданов.

Жизненный путь Морозова, растянувшийся без малого на столетие, начался и завершился в имении Борок Ярославской губернии. Морозов был сыном помещика П. А. Щепочкина и крепостной крестьянки А. В. Морозовой. Отец Морозова происходил из дворянского рода Нарышкиных и состоял в родстве с самим Петром I. Маргинальность происхождения, возможно, и определила последующую судьбу

Морозова. Он избрал путь революционера-террориста, а после падения царского режима выступил с опровержением традиционной историографии. Морозов принимал участие в «хождении в народ», жил на нелегальном положении, дважды эмигрировал в Швейцарию, трижды арестовывался, проведя в заключении в общей сложности двадцать девять лет, из которых четверть века отсидел в одиночных камерах Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей. Получив в Швейцарии письмо С. Перовской, Морозов поспешил в Россию, чтобы принять участие в готовящемся покушении на Александра II, но был схвачен на границе и уже в крепости узнал о гибели императора. Этот предварительный арест, вероятно, и спас Морозова от смертной казни. Выжить в заточении ему помогла напряженная умственная работа. Он учил языки, читал всю доступную в тюрьме научную литературу и постоянно писал. По свидетельству жены Морозова Ксении Алексеевны: «Когда же в Шлиссельбург привезли какую-то изъятую студенческую библиотеку, в которой было несколько сот книг научного содержания, а также беллетристика на иностранных языках, Морозов с жаром накинулся на чтение и стал делить время между книгами, мечтами, мыслями и воспоминаниями. Создавая свой собственный мир мыслей и образов, он окружил себя ими, как неприступной стеной, за которой исчезла беспросветная действительность». Покидая тюрьму, он вынес двадцать шесть томов рукописей (около пятнадцати тысяч страниц), содержавших около двухсот монографий по математике, химии, физике, истории, к публикации которых приступил на свободе. В 1906 г. по представлению Д. И. Менделеева за сочинение «Периодические системы строения вещества. Теория возникновения современных химических элементов» Петербургский университет присвоил Морозову без защиты степень почетного доктора наук по химии. Это дало ему возможность преступить к исследованиям

в Петербургской биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта и начать преподавать аналитическую химию в Высшей вольной школе П. Ф. Лесгафта. В 1918 г. стараниями Морозова биологическая лаборатория была преобразована в Научный институт им. П. Ф. Лесгафта, директором которого Морозов оставался до конца жизни. В 1932 г. был избран почетным членом АН СССР. Работоспособность, помноженная на долголетие, дала обильные результаты. Всего Морозову принадлежит около трех тысяч работ, из которых он успел напечатать только четыреста.

Однако многолетнее одиночное заключение, маргинальное положение Морозова в обществе и официальной науке сказались на манере и специфике его исследований. Прежде всего, это монологизм морозовского мышления, вызванный недостатком общения; желание расправиться со старой наукой так же, как революционер расправляется со старым режимом; доходящая до фанатизма убежденность в своей правоте. Наиболее заметно это проявилось в исторических исследованиях. При этом естественно-научный рационализм Морозова парадоксальным образом соединялся с пантеистическим мистицизмом антихристианского толка. Насколько одиночная камера располагала к мистицизму, сказать трудно. Занятия наукой позволяли сохранить ясность рассудка и не давали сойти с ума. Но сам Морозов признавался, что выжить в одиночной камере ему помогало сознание того, что он сидит во Вселенной, а не в тюрьме. Теория и практика мистицизма знают многочисленные описания подобного разрастания микрокосма в макрокосм. Протопопу Аввакуму, например, в темнице не только являлся ангел со щами, но и его собственное тело разрасталось до целого мира. Интерес к мистицизму и оккультизму проявляли и некоторые деятели большевистского правительства (Ф. Э. Дзержинский, А. В. Луначарский, В. В. Бонч-Бруевич). Благодаря поддержке Дзержинского

и Луначарского стали печататься исторические сочинения Морозова. Мистические и оккультные настроения были популярны и среди русской интеллигенции начала XX в. Разоблачения Морозовым христианства и связанной с ним историографии были созвучны поискам «нового религиозного сознания», ожиданиям нового откровения и критике исторического христианства. Мистические мотивы не были чужды и представителям русского космизма, например, К. Э. Циолковскому. Новый взгляд Морозова на историю перекликается с воззрениями русских космистов на влияние внеземных факторов на исторические события, хотя их точки зрения и нельзя отождествлять. Даже личное знакомство с А. Л. Чижевским не привело к корректировке концепции Морозова. Разрабатывая учение о единстве Вселенной, он приходил к выводу о воздействии космоса на геологические и климатические явления на Земле. Согласно Морозову, жизнь представляет собой результат эволюции вселенной, эволюция жизни — продолжение эволюции материи. Вершиной эволюции является человеческий разум. Эта ренессансная антропологическая точка зрения важна и для понимания философско-исторической системы Морозова. Мистико-оккультный смысл заложен и в названии главного исторического труда Морозова, семитомном исследовании «Христос». «Христос», подчеркивал Морозов, означает «посвященный», «магистр оккультных наук», т. е. человек, владеющий тайным знанием.

Историческая концепция Морозова и опровержение им традиционного христианства тесно связаны между собой. К новому взгляду на историю он пришел от изучения Библии и богословской литературы. Первоначально в заключении из книг ему оказалось доступно только Св. Писание. Морозов не был историком в точном смысле этого слова; его излюбленной сферой научной деятельности всегда были точные науки — физика, химия, математика.



Обложка первой части второго издания семитомного исследования Н. Морозова «Христос» («История человеческой культуры в естественнонаучном освещении»). Москва, Ленинград, Государственное издательство, 1927

Историю как точное летоисчисление он открыл для себя, занимаясь теологическими вопросами, в частности, астрономической экзегезой Апокалипсиса. Об этом он сам сообщает в письме к матери из крепости от 13 февраля 1904 г.:

«Одно время (хотя уже давно) у меня не было другого чтения, кроме Библии, и, перечитав ее несколько раз, я и до сих пор помню наизусть очень многие ее места. К некоторым из библейских книг я относился особенно внимательно, так как в них нередко говорится о таких предметах, которые меня особенно интересуют, например, о географических представлениях прошлых поколений человечества. Но более всего заинтересовал меня Апокалипсис, в котором, кроме чисто теологической части, есть прекрасные по своей художественности описания созвездий неба с проходившими по ним планетами, и облаков бури, пронесшейся в тот день над островом Патмосом.

Однако всю прелесть этого описания может понять только тот, кто хорошо знаком с астрономией и ясно представляет себе все виды прямых и понятных путей, по которым совершаются кажущиеся движения описанных в Апокалипсисе коней-планет, и кто хорошо помнит фигуры и взаимные положения сидящих на них зверей — созвездий Зодиака, с их бесчисленными очами-звездами. Тот, кто не знает вида звездного неба, кто не может сразу показать, где находятся в данное время дня и года описанные там созвездия Агнца или Овна, Весов, Тельца, Льва, Стрельца, Алтаря, Дракона и Персея, кто никогда не читал в старинных книгах о древнем символе смерти — созвездии Скорпиона, по которому несся тогда бледный конь Сатурн, или о созвездии Возничего с его конскими Уздами, до которых протянулась тогда, после грозы, кровавая полоса вечерней зари, или о созвездии Девы, которое было тогда “одето Солнцем”, кто не видал в темную звездную ночь, как двадцать четыре старца-часа, на которые разделяется в астрономии небо, обращаются вокруг вечно неподвижного полюса, символа вечности, — для того будет совершенно потеряна вся чудная прелесть и поэзия лучших мест этой книги, и в голове его не останется ничего, кроме какого-то кошмара от всех этих “звериных фигур”, с которыми он не может связать надлежащего представления!».

Тогда же его привлекает русская история: «Пересмотрел, между прочим, значительную часть Четьи-Минеи на славянском языке и вычитал в них такие вещи, каких даже и не подозревал... а я-то сначала думал, что эти толстые 12 томов, напечатанные древним славянским шрифтом на позеленелой от времени бумаге, очень скучная и сухая материя».

Постепенно Морозов втягивается в работу над древнерусскими источниками, все более убеждаясь, что астрономия позволяет пересмотреть многие явления отечественного средневековья, дать новую хронологию развития русской истории.

Это было тем более оправдано, что в отечественной науке с середины XIX в. под влиянием позитивизма развернулся острый спор о достоверности в истории, о значении природно-климатических факторов в историческом процессе. В этом споре приняли участие Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, С. С. Уваров, К. Бер. Последний в работах «О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества» (1848) и «Человек в естественноисторическом отношении» (1851) предлагал рассматривать историю человечества как часть естественной истории, предполагая непосредственное влияние географических условий на ход исторического развития народов.

Точка зрения К. Бера, безусловно, важна для понимания того процесса, который привел к пересмотру истории с позиции естественных наук. К. Бер лишь обозначает новое направление в изучении истории. Гораздо больше совпадений обнаруживается у Морозова с взглядами С. С. Уварова, выступившего со статьей «Продвигается ли вперед историческая достоверность?». Сейчас эта статья мало известна, а в 1850 г. ее напечатали сразу два журнала различной политической ориентации, «Современник» и «Москвитянин».

В статье Уварова сформулированы основные подходы и мотивы, позднее развитые в историческом творчестве Морозова. Это может вызвать недоумение, объяснимое, пожалуй, лишь тем, что оба они подходили к истории как к идеологической конструкции. Уваров, как известно, был автором, наверное, самой устойчивой идеологической формулы XIX в. — триады «православие, самодержавие, народность». Неясность и многозначность последнего члена триады, «народности», привели к его различным толкованиям. Уваров не первым стал употреблять термин «народность» как кальку с французских слов «nationalité» и «popularité», но благодаря его формуле этот термин вошел в более широкое употребление, вызвав к жизни, в конце концов, и такое самоназвание радикального движения, как «народники». Народники — терминологические наследники уваровской триады, — конечно же, по-иному понимали «народность». Для них «народность» была не вместе с «самодержавием» и «православием», а вместо «самодержавия» и «православия». В своей формуле Уваров утверждал те ценности, которые лежали в основе исторического существования России и которые народники нигилистически отрицали.

Ход рассуждений Морозова¹ поразительным образом во многом совпадает с мыслями Уварова, но выводы их противоположны. Приведу несколько высказываний Уварова. Отошедший к тому времени от дел бывший министр народного просвещения приходил к заключению о сомнительности тех сведений, которые мы имеем о древней истории. «Конечно, — писал он, — история древних времен гадательна; это скорее дело веры, чем обсуждения. Потому-то и необходимо принимать ее почти в том самом виде, в каком передали ее нам поэты, историки и риторы. Прилагать

¹ Во Временном правительстве Морозову был предложен пост товарища министра народного просвещения, от которого он отказался.

светильник новейшей критики ко временам отдаленным — это один из тех подвигов учености, в которых только посвященные могут дать себе отчет; но если рассматривать историю в ее отношениях ко всей совокупности цивилизации, как пищу огромной массы, как цепь преданий, неразрывно переходящую из века в век и остающуюся навсегда в памяти народов, тогда, я думаю, будет ясно, что для последних условия новейшей истории почти точно таковы ж, каковы условия истории древнейших времен для тесного круга ученых. Притом же ум человеческий, столь склонный к синтезу, одарен природным инстинктом стремиться к положительному в области приобретенных знаний и подчиняться охотно только установившемуся авторитету, будь он, впрочем, и условный». Морозов, со своей стороны, отказывается от любых авторитетов и последовательно, вплоть до опровержения, идет по пути критической проверки источников и сведений по древней истории. «История времен отдаленных, — пишет Уваров, — лишена достоверности оттого, что нельзя аналитически показать достоинство источников и опереться на непреложные свидетельства. История эта носит на себе очевидно печать условности...». Морозов, признавая эту условность, ищет необходимые методы аналитической проверки фактов далекого прошлого. Отмечая «гадательность» древней истории, Уваров говорит о том, что о древнем периоде человеческой истории мы имеем не достоверное, а только правдоподобное знание, т. е. «достоверность древней истории подлежит тем странным условиям, при которых правдоподобное становится истинным, и до которых едва касается искуснейший критический анализ». В силу этого, делает вывод Уваров, необходимо верить показаниям поэтов и древних летописцев. Он же отмечает зависимость древней истории не только от художественного воображения, но и от религии. «История имела у древних одно общее происхождение с религией и поэзией», —

констатировал Уваров. Для Морозова клерикальная основа историографии становится главным предметом критики.

Поворотной эпохой для Уварова и Морозова являлся XV в. «Начиная с XV века все изменилось: не только факты принимают иной характер, но и идеи, которые могут принимать факты, рождаются во множестве и дают цивилизации новое направление», — признавал Уваров. По его словам, с этого времени берет начало «анархическое положение человеческой мысли», приводящее в итоге к распространению «исторического скептицизма». Под «историческим скептицизмом» Уваров подразумевал то направление исторических исследований, которое позднее было развито Морозовым. «Эта форма истории, — характеризовал ее Уваров, — тем более опасна, что она ведет более или менее непосредственно к отрицанию добра и зла, что она изгоняет Промысел из истории и ставит на место великих законов общественного порядка какой-то искусственный механизм, порождаемый случаем и унижающий достоинство человека, отнимая у него лучшие его надежды». Возросший объем материала, новые данные и источники, полагал Уваров, только затрудняют работу современных историков. Растущее каждый год количество научной литературы невозможно охватить одному ученому; попытка отследить весь увеличивающийся объем информации способна парализовать самостоятельную творческую деятельность историка. Поэтому предпочтение надо отдавать не аналитическому разбору новых материалов, а синтетической обработке уже известных фактов. Кроме того, новая история, более доступная и известная для нас, не становится от этого более понятной и достоверной. Ближайшее прошлое для большинства людей не менее неясно, чем далекая древность. В качестве примера Уваров приводил Французскую революцию конца XVIII в. По его выражению, «мрак будто густеет по мере того, как растет число обнаруженных

сочинений... нет ни одного факта этой эпохи, ни одного характера, ни одной правительственной меры, которые принимались бы без противоречия и подвергались решительному суду». В новейшей истории мы видим случаи мифологизации исторических событий современными учеными. Так, в «историческую фантазмагорию» превратилась эпоха Наполеона.

На претензии современной исторической науке, высказанные в статье Уварова, откликнулись профессиональные историки. Для краткости приведу лишь точку зрения П. Н. Кудрявцева, выраженную в статьях «О достоверности истории» и «О современных задачах истории». Кудрявцев признавал, что развитие историографии за последние полтора столетия привело к «построению истории на ее новых, широких основаниях». Увеличение количества источников, исторического материала способствовало расширению «исторической почвы» и преобразованию истории в науку. Однако научность историографии предполагает не только разработку новых источников, но и «доискивание смысла». Полученные исторической наукой «истины» или «смыслы» являются общенаучным достоянием так же, как и «истины» естествознания. Как и всякая наука, история доискивается постоянных законов. Единство научного знания позволяет истории привлекать сведения и методы, разработанные в других науках, что придает историческому знанию большую объективность. Однако все же истины истории имеют и отличия от истин естествознания. Истины истории достоверны, т. е., согласно Кудрявцеву, достигаются путем «обсуждения». Конвенциональность истины усиливается институциональностью исторического знания, которое не столько *дается*, сколько *задается*. Факты или историческая данность запечатлены в источниках, материальных или духовных. Общее стремление людей к истине позволяет доверять этим источникам. Это первый шаг

к установлению достоверности истории. Дальше в дело вступает методология истории, выявляющая путем анализа основные, «делающие эпоху» события; подвергающая критической проверке выявленные анализом данные; и, наконец, синтезирующая факты в новой «органической связи». В результате Кудрявцев указывал на конкретные задачи, стоящие перед историей как наукой: освоение памятников древности, «проверка их вновь собственными наблюдениями» и «объяснение их на основе позже открытых памятников». С выводами Кудрявцева мог бы согласиться и Морозов, за исключением одного положения. Согласно Морозову, человек равно может стремиться как к истине, так и к ее намеренному искажению. История наполнена такими искусственными заблуждениями. Кудрявцев сомневался в универсальности «географического определения» истории, полагая, что большее значение, чем природа, на ход исторического развития имеет культура. Морозов, напротив, готов был абсолютизировать значение естественных факторов и методов естествознания в истории, что совпадало с программой позитивизма.

В это же время позитивизм в России тесно переплетался с традицией русского радикализма, в частности, народничества. И позитивизм, и радикализм в России были одной из форм проявления русского западничества. Радикалистская установка позитивизма состояла в отрицании всей прежней философской традиции. Позитивизм сводил философию на уровень мировоззрения, т. е. на до-теоретический уровень, отказывая философии в возможности самостоятельного постижения бытия. Социальный радикализм народников, к которым принадлежал и Морозов, ставил своей задачей не только ниспровержение существующего общественно-го строя, своеобразный отказ от исторической традиции, но и от старой идеологии. Импульс деидеологизации был распространен Морозовым на историю. Позитивистская

интерпретация истории в философии народничества была представлена социологическим учением П. Л. Лаврова. Но Морозов идет дальше, его понимание истории сближается с теми процедурами «заподозривания», которые были предложены К. Марксом и З. Фрейдом. Сложные исторические события он сводил к данным астрономии и метеорологии, что позволяет попросту отвергать несоответствующие им исторические факты. Речь здесь идет о выявлении мистификаций в истории, о поисках ответов на вопросы: кому выгодна та или иная интерпретация истории? чьи интересы отражает традиционная историография? какие силы скрываются за так называемыми «фактами истории»?

В результате Морозов приходит к идее тотальной фальсифицированности истории. Факты устраняются или как несоответствующие астрономическим вычислениям, или отождествляются с другими фактами, или отвергается сам источник, повествующий о факте. История утрачивает фактографическую базу. Она рассматривается как область предрассудков, а не истины. Смысл и истина принадлежат современности, настоящему времени. Критика предрассудков приводит к сокращению исторической ретроспективы. Просвещенческая установка на борьбу с предрассудками пересекается с принципами механико-детерминистского мировоззрения, согласно которому, зная конечное число параметров, можно вычислить любое состояние системы. Такую возможность, полагает Морозов, для истории дает астрономия.

Морозов продолжает тот пересмотр оснований исторического знания, который начался в европейской и русской науке еще на рубеже XVIII–XIX вв. В России это было связано с преодолением летописной традиции, зависимость от которой ощущалась еще у В. Н. Татищева. Становление исторической науки привело к разработке трех разделов исторического знания: источниковедения, методологии

истории и исторического повествования. Историческое исследование начинается с установления фактов, т. е. реальных оснований истории, продолжается на уровне исторической реконструкции и завершается историческим повествованием. Однако само понятие «исторический факт» двусмысленно. С одной стороны, факт предполагает некое «положение дел», фрагмент реальности, с другой, — факт истории недоступен непосредственному наблюдению; его необходимо восстанавливать, риторически реконструировать. Иными словами, исторический факт — это аргументированно воспроизведенная реальность. Исторические факты, конечно же, основа истории, но эта почва вымощена аргументами. Аргументы могут быть разными, но сами факты должны оставаться как некое подлежащее, иначе история рассыпается. У нас есть только наши аргументы и «фрагменты» реальности (материальные и духовные источники). Исторические факты поэтому очень уязвимы. Достаточно поменять доводы, и реальность истории трансформируется, но, несмотря на искажения, удерживается благодаря источникам. Для того, чтобы опрокинуть реальность истории, необходимо опровергнуть сами источники, а через них отметить и факты. Как последовательный нигилист, Морозов наносит удар по «сделанности» фактов как идеологической конструкции и тем самым ничтожит факты и уничтожает историю.

«Нигилизм» точнее всего характеризует то направление, к которому примыкал Морозов. Совестьное и беспоконное поколение разночинной интеллигенции, не видящее способов улучшения мира исходя из самого этого мира, и окрещенное «нигилистами», отличалось неверием в Россию и ее исторические силы. Отторгнутые от народа, выпавшие из рода, нигилисты являли тип сознания, утратившего ценностные ориентиры, безбытный тип интеллигента, которым овладела страсть к разрушению.

Для нигилистического сознания действительным признается только сущее, доступное чувственному восприятию и отрицающее любые авторитеты и традиции. В этом значении Морозов также использовал термин «реализм». М. Хайдеггер следующим образом отмечал специфику нигилизма: «Нигилизм есть тот исторический процесс, в ходе которого “сверхчувственное” в его господствующей высоте становится шатким и ничтожным, так что само сущее теряет свои ценность и смысл. Нигилизм есть сама история сущего, когда медленно, но неудержимо выходит на свет смерть христианского Бога». Полнее всего нигилизм выразился в жизни того поколения, к которому принадлежал Морозов. Появление термина «нигилизм» в России, как известно, связывают с романом И. С. Тургенева «Отцы и дети». Однако его распространение обязано, в том числе, и одному из ближайших друзей и соратников Морозова по террористической борьбе С. М. Степняку-Кравчинскому, написавшему роман «Андрей Кожухов, или Карьера нигилиста». Логика рассуждений Морозова следует логике нигилизма, раскрытой еще А. И. Герценом: «Нигилизм — это логика без структуры, это наука без догматов, это безусловная покорность опыту и безропотное принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, требуются разумом. Нигилизм не превращает *что-нибудь* в ничего, а раскрывает, что *ничего*, принимаемое за *что-нибудь*, — оптический обман». Мир с точки зрения нигилистического сознания теряет *единство* твари в творце, утрачивает *истину* прошлого (наши знания больше не соответствуют реальности), а осмысленную *цель* жизни заменяет эволюцией Вселенной. Расшатывание исторической идентичности, дезориентация в прошлом — результат отрицания религии и опровержение клерикальных основ историографии. Отвечая на критику Н. М. Никольского, Морозов писал по этому поводу: «Падение клерикализма

в XX веке неизбежно приведет и к падению созданной им ортодоксальной древней истории. Новая история останется, конечно, как была, а средневековая сильно обогатится за счет обломков псевдо-древней и осветится ими, как нечто закономерное, возможное для теоретической обработки».

Однако выход из нигилистического отрицания Морозов видел не в истории. Сознание невыносимости данного мира и существующего порядка вещей для него приводит не к аннигиляции в Ничто, а к поиску новой целостности. Смириться с тяжестью этого мира можно лишь в осознании ценностей более значительного масштаба, в осознании ценности Вселенной и в сознании этой своей сознаваемости. Так Морозов приходит к идее космической сущности человеческого сознания; человек вновь обретал ценностное измерение, но уже не как созданная по образу и подобию Творца тварь, а как венец эволюции Вселенной. Возвращение самооценности человека и смысла жизни шло для Морозова помимо истории. Обратиться к истории означало вновь опереться на традицию и авторитет.

История для Морозова требовала дальнейшего критического опровержения. Процедуры исторической критики оттачивались постепенно. Как вспомогательная историческая дисциплина критика обязана своим появлением А. Л. Шлёцеру. Задача исторической критики состояла в установлении подлинности источника и достоверности сообщаемого им факта. Критической проверке последовательно подвергались и историческое повествование, и историческая реконструкция. Морозов переносит критику на сами факты. «Классический» вариант исторической критики предполагает, что проверка достоверности факта следует за установлением подлинности источника. Но для Морозова до появления печатных книг о подлинности исторических текстов не может быть и речи. Они все создавались накануне своего «случайного» открытия. Значит

и факты, изложенные в этих текстах, не заслуживают доверия. Но в подобного рода сочинениях есть ошибки, которые способны указать на скрываемую «подлинность» истории. Практическим воплощением такого подхода стала работа Морозова по русской истории. Осознавая необычность используемых методов и парадоксальность полученных результатов, он назвал свое исследование «новым взглядом».

«Новый взгляд на историю русского государства в его допечатный период по его собственным источникам» является частью многотомного исследования Морозова «История человеческой культуры в естественно-научном освещении», опубликованного в 1924–1932 гг. под заглавием «Христос». Не все части этого сочинения были тогда изданы, в том числе не вышел в свет и «Новый взгляд на историю русского государства», полный текст рукописи был утрачен. Его публикация в 2000 г. сама отчасти напоминает мистификацию. Подробности подготовки этой книги даны в статье С. Валянского «Н. А. Морозов — историк»², написанной «изнутри» традиции «новой хронологии». Работа Морозова «Христос» продолжает его библейско-астрономические толкования: «Откровение в грозе и буре: История возникновения Апокалипсиса» (1907) и «Пророки: История возникновения библейских пророчеств, их литературное изложение и характеристика» (1914). В них Морозов исходит из предпосылки, что в религиозных образах и апокалиптических видениях зашифрованы атмосферные и астрономические явления (планеты, созвездия, кометы и т. д.). Морозов полагает, что космические явления непосредственно воздействуют на психику людей, сказываясь на их поведении, и отражаются в исторических источниках. Астрономический метод Морозов дополняет геофизическим,

² *Валянский С. Н. А. Морозов — историк // Морозов Н. А. Новый взгляд на историю Русского государства. М., 2000. С. V–LIV.*

материально-культурным (марксистским), этико-психологическим, статистическим, лингвистическим, предлагая, по существу, комплексную критику исторических источников. Все эти методы представляют собой редукционистскую схему сведения исторических фактов к более простым и доступным исчислению данным.

Факты биографии и многие оценки деятельности и творчества Морозова восходят к брошюре, выпущенной в 1944 г. АН СССР к 90-летию ученого и подготовленной его второй женой К. А. Морозовой. Для краткости приведу ее характеристику исторических работ Морозова:

«Подвергнутый разнообразной проверке исторический материал дал Морозову основание говорить о непрерывности человеческой культуры и о том, что полная достоверность исторических событий начинается, по его мнению, только с 402 года нашей эры, когда произошло солнечное затмение, описанное в двух хрониках — Годация и Галльской, а все, что было до этого времени, уже не история, а археология, но взамен этого средневековый период сильно обогащается множеством материалов. Все, что мы знаем о древнем мире, надо, по его мнению, отнести к “волшебным сказкам”, созданным авторами средних веков в так называемую эпоху Возрождения, которую, он считает, было бы правильнее называть эпохой Нарождения науки, литературы, искусств, — человечество никогда не погружалось в тысячелетний умственный сон Средневековья. Человечество, как утверждает Морозов, шло неизменно по пути прогресса; первой самой активной культурой явилась культура Средиземноморского бассейна, и давность ее, как и культур трех других бассейнов (Антильского, Желтоморского и Индо-Малайского), намного меньше, чем это думают теперь. Укоротив и теснее сплотив эпоху исторического культурного развития человечества, Морозов изобразил лестницу

культуры, показывая, как непрерывно, ступень за ступенью, по его взглядам, без скачков и провалов, поколение за поколением, человечество поднималось все выше по пути к истинному познанию природы и ее законов и умственному и материальному улучшению своей жизни».

В предисловии к седьмому тому своего сочинения Морозов следующим образом формулировал задачу исследования:

«Основная задача этой моей большой работы была: согласовать исторические науки с естествознанием и обнаружить общие законы психического развития человечества на основе эволюции его материальной культуры, в основе которой, в свою очередь, лежит постепенное усовершенствование орудий умственной и физической деятельности людей».

Высчитывая положения планет и созвездий, Морозов дает датировку описываемых событий. Это позволяет ему отождествить апостола Иоанна со св. Иоанном Златоустом, Иисуса Христа со св. Василием Великим, тексты пророков отнести к V–X вв. н. э., отказать в существовании еврейскому народу, римлянам и т. д. Сокращение хронологии всемирной истории приводит Морозова к заключению, что история начинается только с I в. н. э. Его интерпретация русской истории не менее оригинальна. Как в свое время М. Т. Каченовский отрицал известную из летописей древнюю русскую историю, относя ее к «баснословному веку», так и Морозов, гипертрофируя историческую критику, переписывает русскую историю. Оппоненты неоднократно уличали Морозова в преднамеренно неточных переводах, фальшивых ссылок, сомнительных филологических сопоставлениях, произвольных аналогиях между религиозными образами и астрономическими явлениями, игнорировании

противоречащих его точке зрения источников, логической непоследовательности в рассуждениях, ошибках в вычислениях... Но все это не поколебало убеждения Морозова в своей правоте. «Если б против этой даты, — отвечал он на критику своего толкования Апокалипсиса, — были целые горы древних манускриптов, то и тогда бы их всех пришлось считать подложными».

Морозовская экзегеза Апокалипсиса, обнаруженная в 1907 г., оказалась на редкость востребованной. Книга неоднократно переиздавалась и была переведена на несколько иностранных языков. Такая популярность, вероятно, объяснима теми апокалиптическими увлечениями и предчувствиями, которыми была наполнена русская культура рубежа веков, особенно накануне Первой мировой войны. Апокалиптика в русской культуре этой эпохи представлена сочинениями еп. Феофана Затворника, К. Н. Леонтьева, В. С. Соловьева, Д. С. Мережковского, В. В. Розанова, А. Блока, А. М. Бухарева. Апокалиптическое истолкование цареубийства 1 марта 1881 г. дал Феофан Затворник, напомнивший, в частности, что, согласно Иоанну Златоусту, православный царь служит преградой на пути земного торжества Антихриста. Не могу судить, насколько хорошо Морозов был знаком с этой апокалиптической литературой. Отмечу лишь одну параллель. В том же 1907 г., когда вышло «Откровение в грозе и буре», Л. А. Тихомиров опубликовал свое «Апокалиптическое учение о судьбах и конце мира», а в 1920 г., когда Морозов взялся за подготовку «Христа», написал работу под заглавием «В последние дни (Эсхатологическая фантазия)». Случайно ли такое совпадение? Л. А. Тихомиров был вместе с Морозовым членом исполкома «Народной воли» и оспаривал у него первенство как теоретик террористической борьбы. На этой почве между ними возникла конкуренция, дополненная и чувством личной антипатии. Дальнейшая судьба Л. А. Тихомирова

и его переход в консервативный лагерь известны. Соперничество Тихомирова и Морозова возобновилось четверть века спустя на экзегетической почве. Укажу еще одну экзегетическую перспективу. Для первомартовца Морозова принципиальным оказывается вопрос о начале нового года в Древней Руси, чему он посвящает первую сотню страниц своего «Нового взгляда на историю русского государства». Он приводит вычисления и доказательства, что новый год начинался именно 1 марта, а не в сентябре. Революционное прошлое невольно врывается в работу Морозова-историка. Задумав пересмотр древней истории вскоре после убийства Александра II, он приступил к полномасштабному осуществлению своего замысла только после второго цареубийства (Николая II). Как известно, цареубийство в русской истории очень часто вызывало такое историческое явление, как самозванство (царевич Дмитрий, Петр III и др.). В своих исследованиях Морозов, по существу, реализует историографическое самозванство, выдавая Иоанна Златоуста за апостола Иоанна, Василия Великого за Иисуса Христа, папу Иннокентия III за Чингисхана и т. п. Научное обоснование для такого пересмотра дает астрономия.

Астрономия, на его взгляд, позволяет выявить в русских летописях несоответствия и ошибки. Морозов не дает никаких новых источников, а строит свою концепцию на уже известных, точнее, на тех ошибках, которые он обнаруживает. Здесь Морозов сближается с П. Я. Чаадаевым, так же полагая, что фактов уже достаточно, надо лишь предложить их новую интерпретацию. Как и Чаадаева, Морозова отличает радикальное западничество; согласно его точке зрения, распространение культуры однозначно шло из Европы на азиатский Восток. Даже арабская и китайская историография и литература были созданы европейцами, тоже относятся к русской летописной традиции. Ошибки в русских летописях, согласно Морозову, появились неслучайно. Они

вскрывают идеологическую сущность истории, указывают на тесную связь истории и политики, вернее, политической ситуации того времени, когда жили компиляторы летописей. По словам Морозова, «составители древних хроник были... носителями идеологии своего сословия, были носителями своей собственной идеологии... Историческая наука до XIX века проводила идеологию лишь правящей части населения...». «В результате таких тенденций, — заключал он, — и вышло то вавилонское столпотворение, которое мы называем древней историей, и которое необходимо, наконец, совершенно разрушить для того, чтоб на его месте можно было воздвигнуть новую, уже действительно научную историю человечества, независимую от классовых интересов. А для этого необходимо связать ее с естествознанием, что я и пытался везде тут сделать для древнего мира». В своей книге Морозов дает не только новую хронологию русской истории, но и показывает, в чьих интересах она писалась (католики, Иван III и т. д.). Согласно Морозову, не было татаро-монгол, а было «татрское иго»; вместо Орды Русь платила дань Ордену; русские князья ездили не в Сарай на Волге, а в Сараево на Балканах; Чингисханом был ни кто иной, как римский папа Иннокентий III, а Хан Батый означает Батяй, т. е. все тот же римский папа, и т. д. От захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. до женитьбы Ивана III на Софье Палеолог Русь была униатской. Доказательством этого служит подтверждаемое астрономическими явлениями в русских летописях начало нового года на Руси в марте, как это было принято в католических странах. Начало же нового года в сентябре, как у византийцев, на Руси принято лишь с XV в. Дальнейшие доводы уже чисто лингвистические, основанные на толковании имен и названий, встречающихся в летописях, как слов из европейских языков. Для восточно-европейских и азиатских топонимов подыскиваются созвучные аналоги из западноевропейской географии.

Психологически деятельность Морозова понятна: маргинал-террорист, отвергнутый миром, в отместку пытается отменить сам этот мир. Слова Ю. К. Олеси, вынесенные в эпиграф, были сказаны о Морозове. Нигилизм переносится на историю. Отрицанию подвергается также и философия. Опираясь на стилеметрию, дополненную им «лингвистическими спектрами», Морозов обнаруживает разночтения в произведениях Платона и Аристотеля, что позволяет ему считать этих древнегреческих философов не существовавшими. Сочинения Платона, заключает он, были сфальсифицированы в XV в. Сама по себе такая интерпретация и философии, и русской истории оказывается очередной ее фальсификацией — в интересах радикализации общественного сознания. Однако остается вопрос: можно ли построить историю на выявленных ошибках, не привлекая дополнительные материалы? Радикализм Морозова состоит в том, что он убежден, что такой новый взгляд на историю возможен. В реализации этого подхода он видит способ превратить историографию в точное знание, сблизить историю с астрономией и математикой. Стоит напомнить, что попытку математизации истории на рубеже XIX–XX в. предпринимали и другие ученые, например, А. С. Лаппо-Данилевский. Путем обоснования истории как науки в профессиональной историографии стала методология истории, рефлексирующая над основаниями исторического знания. Морозов избрал другой путь, ему явно недостает подобного рода рефлексии. История истории для него — это доступные только посвященным конспиративные шифровки астрологических гороскопов в апокалиптических образах, а также католические заговоры по подделке и фальсификации национальных историографий (русской, арабской, китайской). Историография XIX в. знает множество подобного рода разоблачений. Иногда это были сознательные подделки, иногда следствие научной

некомпетентности составителей исторических памятников. «Читая древние исторические сказания (например, Библию, Евангелие, Жития святых и другие богословские книги), — признавал Морозов, — мы видим, что старинные историки были большими фантазерами, и потому произведения их надо подвергать научной критике, как с точки зрения психологической, так и с точки зрения этнографической, лингвистической и вообще естественнонаучной». К такого рода критике и стремился Морозов. Вениамин Каверин, лично знавший Морозова и находившийся под обаянием его неординарной личности, в воспоминаниях приводил суждение историка С. Я. Лурье. «Профессор С. Я. Лурье, — писал он, — известный эллинист, автор классических исследований Греции (женившись на Л. Н. Тыняновой, я снимал у него комнату), объяснял эту упорную склонность к опровержению исторических документов тем, что годы молодости Морозова совпали с множеством разоблачений якобы подлинных произведений древности, хранившихся, главным образом, в католических монастырях. Разоблачения были сенсационными, и, по мнению С. Я. Лурье, Морозов был присужден к бессрочному пребыванию в крепости как раз в то время, когда историческая наука переживала этот болезненный кризис».

Однако Морозов не ограничивается опровержением отдельных источников, он переносит историческую критику на сами факты, т. е. подвергает радикальному сомнению саму реальность истории. Его теория истории сводится к астрономической датировке исторических фактов, к идее временной последовательности в смене жанров исторической литературы, применению статистических методов для определения авторского инварианта древних текстов. Ошибки в русских летописях для Морозова — это не случайные погрешности, а намеренное искажение фактов. История, таким образом, лишенная фактов,

де-онтологизируется, утрачивает свою реальную основу. На место онтологии истории заступает идеология истории. Иметь *свою* историю означает распоряжаться прошлым, подчинять себе традицию. При старом режиме, признавался сам Морозов, он не решался начать пересмотр истории. Такой пересмотр был бы расценен как покушение на власть. Пока после революции окончательно не укрепилась новая власть, оставался зазор, позволяющий приступить к переоценке истории. Но как только власть в полный голос заявила о своем праве на истину, было прекращено печатание книги Морозова. В том же 1932 г. были распущены творческие объединения и начала создаваться единая централизованная система управления наукой, литературой, искусством. Власть взяла под контроль сферу производства смыслов. Любые альтернативные исторические проекты оказались не только не нужны власти, но и опасны для ее права безраздельно распоряжаться истиной. Морозов вновь оказался в маргинальном положении, которое было закреплено возвращением ему родового имения Борок. В Советском союзе Морозов, как говорили его друзья, оставался «последним помещиком».

Импульс разоблачения идеологической сущности истории преобладал у Морозова. Этой цели служил и весь сложный вычислительный аппарат астрономии, вся эрудиция полиглота, все познания естествознания. Во внедрении этих методов Морозов видел способ обосновать историю как строгую науку. Новое общество, формировавшееся в 1920-е гг., требовало новой науки, в том числе исторической. «Искоренение прежних потребностей, — раскрывал М. Хайдеггер особенности европейского нигилизма, — всего надежнее произойдет путем воспитания растущей нечувствительности к прежним ценностям, путем изглаживания из памяти прежней истории посредством *переписывания* ее основных моментов». Но трагедия Морозова как

ученого состояла в том, что роль новой научной теории истории уже взял на себя марксизм. Что оставалось Морозову? Прекратить свои исторические изыскания, в противном случае подрыв фактологической базы истории грозил обрушением и всего здания исторического материализма. Мог ли он остановиться, когда, по словам Уварова, «дух сомнения, скептицизма, приведенный в систему, окончательно овладеет всеми отраслями знаний человеческих и сделается последним словом нашего разума?». Вопрос, как говорится, риторический. Дала ли что-нибудь «новая хронология» Морозова исторической науке? Она не привнесла ни новых источников, ни новых фактов. Это была своеобразная «работа над ошибками», по итогам которой предлагалось не дать правильное решение, а изменить сами условия задачи, которые бы соответствовали выявленным ошибкам. Все это лишь вносило новую путаницу и затруднения. Именно так эту тенденцию в свое время диагностировал Уваров: «Страсть века к разрушающему анализу, отвращение ко всем синтезам, религиозным, историческим, или нравственным, совершенное безверие, перенесенное в область более или менее таинственной действительности, представляют затруднения, неизвестные древним и по крайней мере равносильные недостатку верных источников и исторической критики для времен отдаленных».

Навел Кузнецов

**АНАРХИЯ И УТОПИЯ:
КНЯЗЬ КРОПОТКИН, ГРАФ ТОЛСТОЙ
И НЕСТОР МАХНО**

Со смерти Толстого в России не было более великого человека, да и при жизни Толстого Россия не имела более благородного человека, чем Кропоткин. Никто не пожертвовал для дела свободы больше, чем он.

Георг Брандес

Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики — ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить.

Варлам Шаламов

В душе, в большинстве своем, мы в той или иной степени — анархисты. Что может быть лучше и выше свободы, свободы безграничной, абсолютной, ничем не скованной?! Разумеется, люди боятся свободы как ужаса неизвестного, но самый последний чинуша, кафкианский монстр, в глубине души бессознательно мечтает о ней. Свободу любят все, но можно ли любить государство, его сюрреалистические

законы, власть — всегда и везде коррумпированную? Можно ли любить Левиафана? Да, по-своему, можно — но это уже патология. Его можно бояться, уважать, признавать необходимость, тем более в такой анархической стране, как Россия? Но любить его нельзя!

В этом, в частности, драма Розанова. Монархист и государственный по убеждениям, он оказался (почему-то?!) главным анархистом в русской литературе, и его книги — это не только история распада его души, но и Российской империи.

Я впервые познакомился с анархистами в конце 1980-х, когда новые (или забытые) идеологии росли, как лисички после дождя. Меня поразило многообразие анархических фракций — бакунинцы, кропоткинцы, анархо-коммунисты, мистические анархисты... Один из последователей князя Петра Кропоткина, которого я как-то подвез в 1990-е на пыльном большаке в Псковской губернии, был пьян, нес что-то невнятное про всеобщее безвластие, кооперацию, анархо-коммунизм, Карелина и Солоновича и, конечно же, Кропоткина... Теперь они все куда-то исчезли, растворились в небытии. В нашей анархической стране нет больше анархистов.

«ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ»

Князь Петр Алексеевич Кропоткин (кстати, из Рюриковичей) был, бесспорно, одним из самых благородных русских революционеров. Другого такого не найти. «Вселенская совесть» и чувство вины перед бесконечно страдающим народом непосредственным образом отразились на его анархо-коммунистической утопии, которая, по сравнению с жестким и разрушительным анархизмом Михаила Бакунина, выглядела романтической идиллией «земного рая».

Я не буду перечислять все достоинства этого человека, ученого, писателя, мыслителя, но скажу сразу же, что при всем том нет таких заблуждений радикальной интеллигенции позапрошлого столетия, которые бы он не исповедовал. Фанатическая вера в материалистическую науку и прогресс, ненависть к государству как к главному злу — в лице «помещика, судьи, солдата и попа» — все эти откровения «дельной мысли», при столь же утопической идеализации природы и природного начала, присутствуют во всей его необыкновенной литературно-революционной и научной деятельности.

Он не был столь безумен, как Бакунин, — «страсть к разрушению» не стала его подлинной страстью. Анархизм Бакунина — мифотворческий, иррациональный; анархо-коммунизм Кропоткина — внешне более научный и позитивистский», но, пожалуй, еще более фантастический.

Русскую анархическую вольницу Бакунина, ненавидящего немцев (трактат «Кнуто-германская империя»), олицетворяли Болотников, Разин и Пугачев. Свой «анархо-коммунизм» Кропоткин (впрочем, он немцев также ненавидел — и, как ни странно, в 1914–1918 выступал за войну «до победного конца») пытался сделать более «разумным» и «человечным». Биолог-дилетант, он пишет довольно странное сочинение «Взаимопомощь в мире животных», где пытается доказать, что не только внутри одной семьи, но и одного вида животные могут помогать друг другу, вопреки Дарвину (интересно сравнить эту работу с «Агрессией» Конрада Лоренца), но лишь до определенной степени. На самом деле взаимопомощь животных интересовала князя Кропоткина по иной причине. Если уж низшие существа способны на нечто подобное, то человекам самой природой суждено осуществить выведенный им фундаментальный «закон взаимопомощи», противостоящий как социал-дарвинизму, так и марксистской «классовой борьбе».

Кропоткин мог бы стать блестящим писателем — достаточно вспомнить первые главы «Записок революционера», где он рассказывает о своем детстве и отрочестве в княжеском имении. Он закончил пажецкий корпус, был близок ко двору, но придворная карьера его не заинтересовала. И, порвав со своим классом, он избрал иной и, надо сказать, весьма тяжелый путь.

Ученый-естествоиспытатель с мировым именем, в юности в экспедициях исколесивший всю Сибирь, сидевший в Петропавловке (бежал в 1887) и в европейских тюрьмах, — за 40 лет в эмиграции встретивший тысячи людей, он, удивительным образом, так и не увидел в человеке *никакого зла*. Ибо все зло исключительно от власти, собственности и государства — «королей и попов»... Бесконечно восхищался Тургеневым, его Базаровым и тургеневскими барышнями. Боготворил «ангела русского терроризма» Софью Перовскую. Сдержанно симпатизировал Нечаеву, хотя, в конечном счете, не жаловал аморализм...

В жизни князь обходился самым необходимым, был почти аскетом, можно сказать — «анонимным христианином». Достоевского почитывал, ценил «Записки из Мертвого дома» и «сострадание к падшим». Но его «реакционность» симпатий, естественно, не вызывала.

Метафизическое зло, грех, религия, все мистическое, *ужас* человеческого существования — сомнительные и устаревшие выдумки, как и сама метафизика и христианство. Удивительно счастливый человек!.. Собственно, это не его личное заблуждение, это болезнь его окружения, эпидемия, охватившая едва ли не все XIX столетие!

Верил в русское крестьянство как оно, в свою очередь, — в Николая Угодника, Но, в отличие от достоевских «богосцев» — смиренных тружеников, видел в крестьянстве главных носителей бунта и анархии, в чем, в конце концов, и оказался прав.

С Львом Толстым они испытывали друг к другу нежную симпатию. Правда, князь не принимал у графа «непротивление злу насиланием» и, частично, «религиозное мракобесие», а граф, в свою очередь, — чрезмерную княжескую «революционность». Но в главном сходились, не считая мелочей: прежде всего в отрицании государства. Увы, они так никогда и не встретились.

«Человек по природе своей естественно добр и благостен... Возникновение культуры, как и государства, было падением, отпадением от естественного божественного порядка, началом зла, насиланием. Толстому было совершенно чуждо чувство первородного греха, радикального зла человеческой природы, и потому он не нуждался в религии искупления и не понимал ее. Он был лишен чувства зла, потому что лишен был чувства свободы и самобытности человеческой природы, не ощущал личности. Он был погружен в безличную, нечеловеческую природу и в ней искал источников божественной правды... Он морально уготовлял историческое самоубийство русского народа. Он подрезывал крылья русскому народу как народу историческому, морально отравил источники всякого порыва к историческому творчеству» (*Н. Бердяев. «Духи русской революции»*).

Сказано, возможно, слишком страстно о писателе и пророке, которого при жизни именовали «совестью России», но если учесть, что эти слова написаны в 1918 году, Бердяева можно понять — он прав.

Интеллектуальные учителя Кропоткина, кроме анархистов, — французские материалисты XVIII века, Огюст Конт, Дарвин, отчасти Спенсер и весь позитивизм «вегетарианского» XIX века. В духе времени верил в естествознание и научно-технический прогресс как в манну небесную.

Как давно замечено, у русских народников и анархистов это религиозная вера, вывернутая наизнанку, хилиастическая ересь о царстве праведников на земле.

Философский уровень — ниже плинтуса. Даже Владимир Ильич, не говоря уже о Марксе, да и Бакуanine, в юности штудировавшем Гегеля, выглядят интеллектуальнее. Поэтому в своих сочинениях («Хлеб и воля», «Современная наука и анархия») рисует фантастическую картину земного рая, напоминающую первых утопистов, например, фаланстеры Фурье.

Это младенческий лепет — буквально на уровне школьных сочинений. В начале всего — революция (разумеется, крестьянская!). Крови не избежать, но надо подготовить народ так, чтобы все произошло «гуманно», без чрезмерной резни и кровопускания. Но даже этот великий гуманист понимал, что без некоторой бойни не обойтись. Затем всю собственность «взять да поделить», вплоть до одежды, продуктов и жилья. Но важно, что дележ будет добровольным и ненасильственным!

Почему? Потому что, как только мелкие собственники увидят преимущества труда в «кооперативах-колхозах» (5–6 часов в день), то тотчас же выскажутся за «обобществление», отдадут последнюю рубашку и вольются в коллективы, где, благодаря «закону взаимопомощи», возникнет неслыханная производительность труда! Дальше восторжествует главный принцип анархо-коммунизма — «каждому по потребностям». То есть — отдал одну рубашку, а получишь две или три! Государство ликвидируется за ненадобностью, и коммунистическое блаженство наступит относительно быстро. Какая-то всеобщая тотальная энтропия, квазирелигия абсолютного равенства! Самый известный философский труд «Этика» несколько выше по своему уровню, но не выходит за рамки элементарного позитивизма и утопического социализма позапрошлого столетия.

Князь был помешан на идее кооперации, в чем, возможно, повлиял на Владимира Ильича во время их бесед в Кремле в 1919 году. Кропоткин даже высказался против ужасов гражданской войны, красного террора и института заложников! Правда, террор не ослаб, а кооперативы-фаланстеры через десятилетие обернулись сталинскими колхозами.

ДЕДУШКА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Вот, собственно, и вся социальная философия анархо-коммунизма. Князь вернулся в Петроград после сорока лет эмиграции в мае 1917 — и не в «пломбированном вагоне», а самостоятельно. Его встречала не меньшая, если не большая толпа, нежели Ильича.

Его «ученики» — анархисты с цыгарками в зубах, развязные молодые люди и матросы — князю совсем не понравились, анархическое учение они восприняли как вседозволенность. Впрочем, странно если было бы иначе, ведь княжеского образования и культуры никто из них не получил.

В России 1917 он ведет себя столь же последовательно и благородно. Кроме выступлений на митингах, он отказывается решительно от всего — от поста министра Временного правительства (анархист не может служить власти), ежегодной пенсии в 10000 рублей, от личного автомобиля (и то, и другое настойчиво предлагал ему Керенский, в том числе и пост Председателя правительства), от любых благ и привилегий. Известен и его потрясающий ответ Керенскому: «работа чистильщика ботинок ничем не менее значительна, чем работа министра». Удивительно, что ученому князю не пришла в голову простейшая мысль — его же «ученики», анархическая шпана, тут же экспроприирует все доходы несчастного чистильщика, если рядом не будет представителя власти.

Но дело даже не в привилегиях — от любого государства невозможно ожидать ничего хорошего, — ни от

Временного, ни от Большевистского, которое он принял, хотя и с существенными оговорками. Это принципиально: *благо* – то ли по щучьему веленью, то ли по моему хотенью (объяснения нет) – *может идти только снизу, от простых людей*, которые по природе своей *добры* (совсем по Руссо), а испорчены лишь властью и обществом.

Бесконечно симпатичный густобородый старичок с добрейшей улыбкой и лицом сказочника – «дедушка русской революции» – ведет себя столь же аскетично и при большевиках. Князь откажется от квартиры в Кремле, от спецпайка и всевозможных большевистских бонусов (почти как Симона Вайль откажется от питания в Лондоне в 1940-х, – если ее соотечественники голодают – и умрет от истощения) и переедет вместе с семьей в провинциальный подмосковный город Дмитров. Но даже там он как будто никаких госпайков не принимал, только частные пожертвования. Об этом пишет и Варлам Шаламов в своих поздних записках. «Святой атеист», отдавший свою жизнь «за други своя», – еще один герой русской жизни и литературы.

Несомненно, что большевики на самом деле были очень рады, что «дедушка» не осел в Кремле и не мешал им своими анархо-гуманистическими глупостями. В любом случае, невозможно не испытывать к такому человеку искреннюю симпатию!

ХЛЕБ, ВОЛЯ, ДА ГУЛЯЙПОЛЕ

Последователи князя по сей день существуют во всем мире, но и при жизни были весьма многочисленны: от своеобразных анархо-мистиков А. Карелина и А. Солоновича (первый умер своей смертью в 1927, второй был расстрелян в конце 1930-х), или необыкновенно плодовитых писателей братьев Гординых (им удалось вовремя свалить за бугор), вплоть до незабвенного Нестора Ивановича

Махно из Гуляйполя, о котором народ — в том числе и рок-группы — до сих пор слагает песни.

О встрече с Махно в Москве в мае 1918-го существуют две версии. По одной князь скептически отнесся к идее создания безгосударственной республики на юге Украины, по другой — благословил его на анархо-коммунистические подвиги. Несомненно одно — «идейный анархист» Махно считал себя убежденным учеником великого учителя:

«Я попал к нему накануне его переезда в Дмитров (под Москвой). Он принял меня нежно, как еще не принимал никто. И долго говорил со мною об украинских крестьянах...

На все поставленные мною ему вопросы я получил удовлетворительные ответы...

Когда я попросил у него совета насчет моего намерения пробраться на Украину для революционной деятельности среди крестьян, он категорически отказался советовать мне, заявив:

— Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищ, жизни, и только вы сами можете правильно его разрешить.

Лишь во время прощания он сказал мне:

— Нужно помнить, дорогой товарищ, что борьба не знает сентиментальностей. Самоотверженность, твердость духа и воли на пути к намеченной цели побеждают все...

Эти слова Петра Алексеевича я всегда помнил и помню. И когда нашим товарищам удастся полностью ознакомиться с моей деятельностью в русской революции на Украине, а затем в самостоятельной украинской революции, в авангарде которой революционная “махновщина” играла особо выдающуюся роль, они легко заметят в этой моей деятельности те черты самоотверженности, твердости духа и воли, о которых говорил мне Петр Алексеевич. Я хотел бы,

чтобы этот завет помог им воспитать эти черты характера и в самих себе» (*Нестор Махно. Воспоминания*).

Воспоминаниям Махно, сочиненным в эмиграции вместе с «соавторами» в Париже, конечно, верить нельзя. Они писались, прежде всего, для самооправдания — он же не был вождем бандитских отрядов, а «идейным анархистом». Сцена весьма сомнительна — Махно выставил себя прямым наследником учителя, героем без страха и упрека. Но отвечает ли Учитель за свое учение? За кровавую анархию, воцарившуюся во всей России? Отвечает ли Иван Карамазов за Смердякова, а безумный Ницше — за бесчисленных «ницшеанцев», вставших «по ту сторону добра и зла»?

А в книге «Истории махновского движения» его соотарищ и отчасти учитель — Петр Аршинов — рассказывает о «крестьянских партизанах» так:

«В основу партизанских действий был положен принцип, по которому всякий помещик, преследовавший крестьян, всякий вартовой (милиционер), всякий офицер русской или немецкой службы, как злейшие враги крестьянства и его свободы, должны быть только убиваемы. Кроме того, по принципу партизанства предавался смерти каждый, причастный к угнетению бедного крестьянства и рабочих, к попранию их прав или к ограблению их труда и имущества... Быстрые, как вихрь, не знающие страха и жалости к врагам, налетали они... на помещичью усадьбу, вырубали всех бывших на учете врагов крестьянства и быстро исчезали. А на другой день Махно делал налет уже в расстоянии ста с лишним верст от этой усадьбы на какое-либо большое село, вырубал там всю варту, офицеров, помещиков и исчезал».

Но самое любопытное, утверждает Аршинов — теперь это подтверждается многими историками, — что добровольческое наступление под Орлом в 1919 захлебнулось

и стало откатываться назад исключительно благодаря тому, что тылы деникинской армии были разгромлены махновцами-анархистами, и они-то сыграли важную роль в поражении белого движения и победе большевиков, которые в качестве благодарности позднее стали их безжалостно уничтожать. Последний союз большевиков с махновцами произошел при штурме Перекопа и разгроме армии Врангеля, после чего Махно пришлось бежать в Румынию и в результате многочисленных приключений оказаться в Париже.

Я думаю, что подвиги героев из Гуляйполя с их знаменитыми тачанками и черными знаменами нужно описывать подробнее — ведь была целая крестьянская республика батьки Махно! — настоящее Гуляйполе на Юге России.

Существуют ли метафизические корни анархизма, сыгравшего роковую роль в российской истории? Несомненно. Пожалуй, лучше всего их сформулировал Алексей Лосев еще в 1920-е годы, говоря о различии между западным и восточным христианством в периоды упадка. Если «католицизм извращается в истерию, казуистику, формализм и инквизицию, то Православие, развращаясь, дает хулиганство, разбойничество, анархизм и бандитизм» («Очерки античного символизма и мифологии»).

Нам же остается лишь удивляться терпимости и всепрощенчеству русской эмиграции: батька рубал их отцов, братьев, матерей, сыновей, но спокойно прожил с ними в Париже в эмиграции до 1935 года, написал мемуары, и никто его и пальцем не тронул! (В отличие от Петлюры, который был застрелен за погромы.) Видимо потому, что, в конце концов, он тоже превратился во врага большевиков?!

«АНАРХИСТСКИЙ ПАРОХОД», 1919

О «философских пароходах» 1922 года знают все. Об «анархистском пароходе» из США в Россию — известно

меньше. Анархисты всего мира — от Европы до Америки — испытывали пламенную страсть к большевистской революции. Именно они, а не марксисты, проводят террористические акты, акции протеста, забастовки по всему миру, в том числе и в США. Ученики Бакунина и Кропоткина под влиянием революционных событий в Российской империи устроили настоящий террор в Соединенных Штатах. Посылки с бомбами, попытки убийств, забастовки настолько напугали власти, что они приняли жесткие ответные меры. В результате двести сорок девять революционеров (по преимуществу анархистов и уроженцев России), во главе со знаменитой Эммой Гольдман, Александром Беркманом и редактором анархистской газеты «Хлеб и воля» (название из Кропоткина) Петром Бианки, в декабре 1919 года были высланы на пароходе «Бафффорд» в советскую Россию. Пресса называла его «красным пароходом» или «красным ковчегом» и «подарком Ленину и Троцкому». Плавание этого парохода напоминает мрачный приключенческий роман. Условия на корабле были чудовищными: в трюме, где находились анархисты, была вода, кормили ужасно, путешествие длилось больше месяца. Это была самая многочисленная и скандальная депортация из Северной Америки за всю историю ее существования.

Советская Россия не имела дипломатических отношений с Соединенными Штатами вплоть до 1933 года, корабль вынужден был причалить в Финляндии, и из Финляндии революционерам пришлось добираться самим до Белоострова, где их уже торжественно ждала большевистская делегация. Но, несмотря на последующую встречу Э. Гольдман и А. Бекмана с Владимиром Ильичом в Кремле в 1920-м, разочарование в стране победившего пролетариата наступило очень быстро. И после подавления Кронштадтского восстания русско-американские анархисты покинули Советы, написав позднее весьма критические сочинения о своем разочаровании в «большевистском мифе».

Разумеется, Гольдман и Беркман со товарищи встречались с анархистами разного толка, в том числе и самим Кропоткиным. Эмме Гольдман даже позволили произнести речь на похоронах Кропоткина в 1921 году. Существует версия, что они добрались и до Гуляйполя и общались с Нестором Махно, но содержание их бесед нам пока неизвестно.

Несложно предположить, что прибытие «анархистского парохода» было известно верхушке большевиков, поэтому высылка «философского парохода» 1922 года была, возможно, своего рода подражанием или даже «плагиатом» (разумеется, эта тема требует отдельного разговора). Следует признать, что условия высылки в Германию российской интеллигенции были более комфортабельными.

МИСТИЧЕСКОЕ НАРОДНИЧЕСТВО

В Дмитров престарелый анархист-гуманист Кропоткин переезжает в июле 1918-го, когда вокруг уже шла кровавая резня, пытается дописать свою «Этику», заниматься наукой и краеведением, получает информацию исключительно из советских газет (других уже не было) и завершит свой жизненный путь в 1921 году, охраняемый грамотой, подписанной кремлевским вождем. О чем он думал эти три года? Он не мог не видеть (или не слышать), что творится в стране. Умный скептик Марк Алданов называет это драмой, «молчаливой трагедией П. А. Кропоткина», всячески отделяя его от Махно и ему подобных. Напрасно! «По плодам узнаете их...». Это не драма и не трагедия, это абсолютная катастрофа не только поколения и не одной страны, а целой мировой эпохи.

Кажется, он не обладал ни честолюбием, ни тщеславием даже в малейшей степени, но это не совсем так. Несомненно, князь (кстати, он не любил, когда его величали «князем») предполагал, что его учение и деяния откроют новую эру в истории рода человеческого — и он, при всей

его скромности, окажется в синклите главных пророков нового, счастливого, энтропийного человечества, где «все равны» и никто не возвышается над ближним.

Разумеется, после смерти князя большевики устроили в Москве грандиозные похороны — к счастью, «дедушка русской революции» почил в бозе и больше не будет им мешать! В день похорон даже выпустили анархистов из тюрьмы — но к вечеру отправили их обратно.

Почему возник этот текст? Я совсем не желал обидеть великого гуманиста и его последователей. Я не хотел бы повторять банальность, что благими намерениями устлана дорога... известно куда... XIX — начало XX века — эпоха Великой иллюзии, Великих утопий в политике, искусстве, литературе. Но если, в большинстве своем, от весьма эгоцентричных художников и поэтов остались всего лишь их произведения (их могли использовать в целях пропаганды — это другая история), то «благодетели человечества», «великие гуманисты» именно из-за своей «бескорыстности» породили десятки миллионов трупов, сгинувших в небытии.

Но все же я попытался бы перечислить хотя бы малую толику тех, кто положил свою жизнь на благо человечества — «ангелов революции», пророков и реформаторов-террористов, столь почитаемых Кропоткиным: Перовская, Желябов, Кибальчич, Степняк-Кравчинский и Иван Каляев, благородный романтик, ставший террористом (его образ представлен в мемуарах ныне забытой «барыни русской революции» Ариадны Тырковой-Вильямс «На путях к свободе» — книжка неправильно названа, надо было бы назвать «На путях к несвободе»), да и большая часть народников — нет им числа, — жертвовавших собой ради просвещения народа, так и не спросив, нужно ли народу интеллигентское просвещение. Почему большинство людей эпохи искренне верили в свои заблуждения? И среди них князь Кропоткин — один из первых, ибо его бескорыстие и благородство ни с чем не сравнимы?!

Герберт Уэллс, посетивший Россию в 1920 году, пишет о Марксе в своей знаменитой «России во мгле»:

«Около двух третей лица Маркса покрывает борода — широкая, торжественная, густая, скучная борода, которая, вероятно, причиняла своему хозяину много неудобств в повседневной жизни. Такая борода не вырастает сама собой; ее холят, лелеют и патриархально возносят над миром. Своим бессмысленным избытком она чрезвычайно похожа на “Капитал”; и то человеческое, что остается от лица, смотрит поверх нее совиным взглядом, словно желая знать, какое впечатление эта растительность производит на мир. Вездесущее изображение этой бороды раздражало меня все больше и больше. Мне неудержимо захотелось обрить Карла Маркса. Когда-нибудь, в свободное время, я вооружусь против “Капитала” бритвой и ножницами и напишу “Обривание бороды Карла Маркса”».

У князя Кропоткина борода была не меньше, чем у Маркса, и не менее впечатляющая. Он все же был скромнее, как и подобает князю, но бороду отпустил огромную, достигавшую середины груди. Что такое пророк светлого будущего без подобающей бороды!? (Задача для психоаналитиков.) Но сегодня бессмысленно проводить «обривание бороды князя Кропоткина». Она давно уже исчезла. Осталась лишь станция метро «Кропоткинская» в Москве, несколько городов и поселков, и множество улиц в разных городках, названных в его честь.

Но главное: за такими — увы, недалекими — персонажами, как Кропоткин, стоят грандиозные личности — Лев Толстой и Федор Достоевский. Именно они создали — в неизмеримо большей степени, чем он, — великие утопии (в чем-то схожие, но во многом различные) для грядущего рода человеческого.

Роковая болезнь русского образованного общества позапрошлого столетия — мистическое народничество — иррациональная вера в то, что именно «простой народ» является носителем истины и добра, «правды-истины и правды-справедливости», как сказал «властитель народных дум» Н. Михайловский (не заразился ей, кажется, только Константин Леонтьев, а в конце века Чехов, Бунин, да еще несколько писателей). Писали же об этой смертельной инфекции многие, но, кажется, больше всех Бердяев.

Первыми разнесли эту болезнь ранние славянофилы — от Хомякова и Киреевских до братьев Аксаковых (теперь считается, что на них сильно повлиял немецкий романтизм). Близкий к ним Гоголь, при всем его антизападничестве, устоял от этой напасти по той простой причине, что народ он уж никак не идеализировал. Учителя народа — «идеальный помещик» и священник и никто иной. А уж любое светское — читай западное — просвещение ничего, кроме вреда, принести не может (см. «Выбранные места из переписки с друзьями»). Возможно, отчасти поэтому проповедь Гоголя подверглась нападкам со всех сторон — как со стороны западников (что неизбежно), так и со стороны его друзей-славянофилов. Любимого народа-то в ней нет! Ни безбожного народа Белинского, ни христоролюбивого народа славянофилов.

Народ нужно воспитывать, учить, а никак не у него учиться. К тому же Гоголь выступил в роли пророка, набросав своеобразный катехизис русской утопии будущего. Но, как все знают, пророков при жизни у нас не любят. Что оставалось Николаю Васильевичу — только умереть.

Станным образом, через полтора десятилетия эта болезнь заразила и русских «почвенников» (братья Достоевские, Аполлон Григорьев, Страхов и т. д.), и одновременно противоположное им народничество, и Льва Толстого, и русских анархистов.

Для Кропоткина народ благ и прекрасен, но потенциально революционен, — ему необходимо не столько поклонение, сколько революционное просвещение. В анархическо-религиозном учении Толстого (прочитав жестоких «Мужиков» почитаемого им Чехова, граф был возмущен — «Он не знает народа! Это его грех перед народом!»), как и в почвенническо-христианской утопии Достоевского, народ-богоносец кроток, смиренен, христоролюбив, он терпеливо переносит страдания молча, как тургеневский Герасим или Платон Каратаев, в своем потаенном молчании несет зерна истинно христианского благочестия.

Удивительным образом, проникнув в самые глубины зла, Достоевский увидел его везде, кроме как в простом русском народе: «Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли, и образа, преклониться перед правотой народной и признать ее за правду». Этими увещаниями наполнен, как известно, весь «Дневник писателя».

Роковым событием для российской истории стало то, что столь трудноизлечимому заболеванию по известным причинам оказалась подвержена и последняя императорская семья — единственная из всех Романовых! Чудовищная, трагическая история всем известна. И когда вершина самодержавной пирамиды соединилась с ее самым низом в лице сибирского мужика, обладавшего несомненными магическими силами, возникла столь страшная разность потенциалов, что произошла аннигиляция, космическая вспышка, уничтожившая великую империю навсегда.

Самое поразительное: как свидетельствуют многочисленные мемуаристы, именно «простой народ» в лице солдат и матросов уже в Февральскую революцию с яростью рвал и топтал портреты царя и царицы. Никаких реальных попыток спасения императорской семьи не было осуществлено — ни офицерством, ни народом. Ничего похожего на русскую Вандею не было! Ни одно из бесчисленных крестьянских

восстаний против большевиков не выступало с монархическими лозунгами! Как такое могло произойти в православно-монархической стране? У меня и сегодня нет объяснения. Просто «Русь закрылась в два дня», как писал Розанов.

Эту болезнь похоронила только революция и гражданская война. Именно после нее, например, бывший народолюбец и знаток жизни низов Максим Горький разразился самым русофобским текстом о русском народе (маркиз де Кюстин и К^о отдыхают), правда, весьма глуповатым в силу своего поверхностного западничества и полному отсутствию способности к философскому осмыслению реальности («О русском крестьянстве», Берлин, 1921 год). Более всего он обвиняет русский народ именно в страсти к анархии, насилию, жестокости, неспособности к созидательному труду. Тут собрано самое ужасное, что можно сказать о любой нации. Ничего более. Кстати, этот текст до сих пор как-то стесняются перепечатывать. Отчасти об этом же писал перед смертью и народолюбец Короленко, а потом долго размышляла и вся русская эмиграция.

Уэллс вспоминает («Россия во мгле»), что, созерцая некий документальный фильм о слете горцев-пролетариев на Кавказе, он хотел бы воскресить бородатого Карла, чтобы он увидел это необыкновенное действо. Я бы желал воскресить Кропоткина, Толстого и Достоевского, чтобы они прочитали дюжину рассказов Шаламова, «Архипелаг Гулаг», да и несколько известных лагерных мемуаров. Этого было бы вполне достаточно. О, как хотелось бы увидеть их реакцию!

«Святые атеисты» и гуманисты XIX столетия лишили XXI-е главного — идеи будущего. Будущее исчезло. Все Утопии осуществлены и рухнули в XX веке, за исключением, пожалуй, двух — техногенной и экологической, причем первая нещадно пожирает вторую, и — что весьма вероятно — она может похоронить Землю под собственными обломками. Будущее исчезло. Иных вариантов нет...

Это все очень странно, да? Люди, которые искренне желали нам счастья, стали могильщиками будущего. Упаси нас Бог от благодетелей, а то жизнь на планете закончится очень быстро. Они его похоронили. Сегодня мы живем в эпоху веселых похорон. Анархо-коммунисты, гуманисты, синдикалисты, либералы-демократы и т. д. исчезли, как утренний туман. На повестке дня — вновь утопия тотальной государственности.

Маятник истории качнулся в противоположную сторону. И это не только чья-то злая воля, а очередная «хитрость исторического разума», опять по Гегелю. После революции 1991–1993 годов наступило время головокружительной свободы 1990-х — но раньше или позже оно должно было закончиться. Свобода, как и во всех революциях, переходит в свою противоположность.

Мы все, в очередной раз, в той или иной степени должны подчиниться Левиафану.

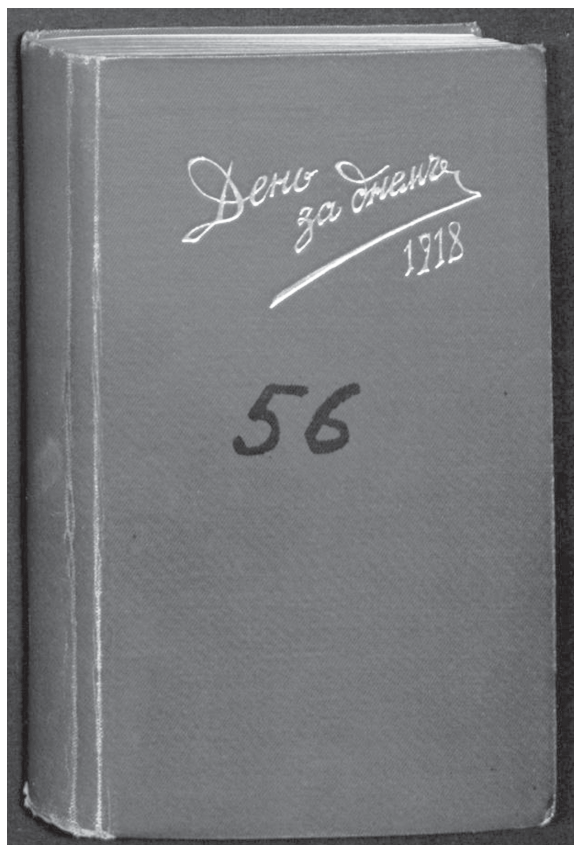
Наталья Трякалова

АЛЕКСАНДР БЛОК И ШКОЛА ЖУРНАЛИЗМА (По архивным и газетным материалам)

21 января 1918 года Александр Блок получил предложение выступить с лекцией о русской литературе в создаваемой в Петрограде Школе журнализма. Содержание телефонного разговора кратко зафиксировано в записной книжке № 56: «Тел<ефон> от П. Пильского: предлагает через месяца 1½ прочесть на курсах журналистов (трехмесячных) лекцию о русск<ой> лит<ературе> — А. Григ<орьев> — двух-часовую — 50–75 р<ублей> в 1 час»¹. По характеру записи видно, что в ходе разговора предмет лекции предварительно определился: Аполлон Григорьев. Жизнь этого «последнего романтика» стала для Блока символом «русской судьбы», а формула «наш современник», вынесенная в заглавие одной из статей, посвященных возрождаемому из забвения — в том числе и усилиями самого Блока — поэту середины XIX века², могла мотивировать актуальность выбора темы.

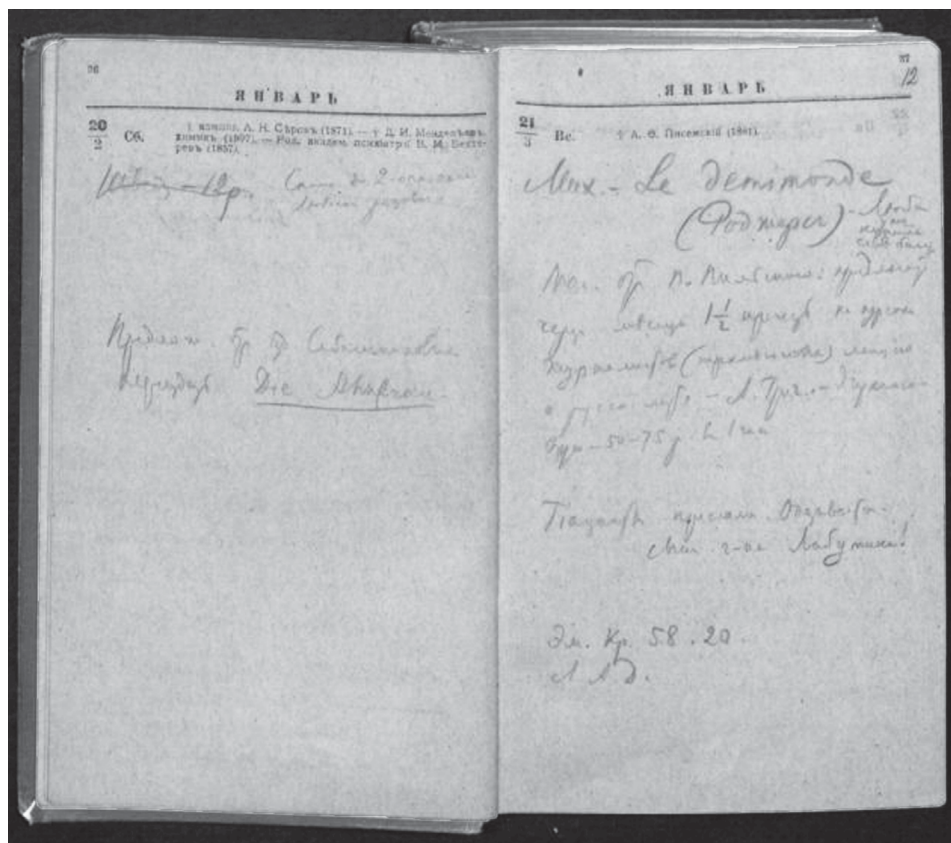
¹ РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 12. В опубликованном тексте записных книжек фрагмент о гонораре отсутствует, ср.: Блок А. Записные книжки: 1901–1921. М., 1965. С. 385. Далее ссылки на данное издание даются в тексте с указанием страницы и в сокращении: ЗК.

² *Княжнин Влад.* О нашем современнике — Аполлоне Александровиче Григорьеве (1822–1864–1914 гг.) // Любовь к трем апельсинам. 1914. № 4–5. С. 81–83.



*Александр Блок. Записная книжка № 56.
Январь-декабрь 1918 года. ИРЛИ РАН*

Приглашение исходило от либерального журналиста, критика, фельетониста, типичного представителя массовой беллетристики и буржуазной прессы Петра Мосеевича (Мосевича) Пильского (1879–1941), обладавшего бойким пером и неутомимой энергией и как раз в это время занятого подбором участников для своего нового проекта. С Пильским Блок был знаком давно: в одном из его изданий — газете «Межа» — он даже опубликовал в 1908 году



Страница записной книжки № 56

стихотворение. Его имя упомянуто в записи от 1 января 1918 года, открывающей ту же записную книжку: «Новый год встретили с Любой, сочиняя ответ на анкету Пильского (отмена литературного наследства) — для “Вечернего часа”» (ЗК, с. 381). Блок, как известно, высказался за отмену права литературного наследования, в предельно антибуржуазном духе декларируя отказ от чувства «всякой собственности» для художника, поглощенного «изысканием форм,

способных выдержать напор прибывающей творческой энергии, а вовсе не сколачиваньем капитала...»³. Настроение духовного подъема и революционного романтизма, переживаемое Блоком в первый период после октябрьского переворота, программные публицистические выступления на страницах левоэсеровских изданий (левые эсеры на тот момент находились в политическом альянсе с большевиками), публичное одобрение политики новой власти — все это ставило его в оппозицию к ближайшему литературному окружению. К середине января 1918 года З. Гиппиус уже заносит его имя в составленный ею проскрипционный список коллаборантов, «интеллигентов-перебежчиков», правда, с некоторыми извиняющими характеристиками («поэт, “потерянное дитя”, внеобщественник») и комментариями: «Больше всех мне жаль Блока. Он какой-то совсем “невинный”, un innocent. Ему “там” отпустится... но не здесь. Мы не имеем права»⁴. Блок, всегда чутко реагирующий на изменение психологической атмосферы, чувствует нарастающее отчуждение, симптоматично поэтому появление в его записи от 12 января афоризма римского комедиографа Плавта: «Nunc ego sum exclusissimus» (ЗК, с. 383)⁵. 18 января — выход номера газеты «Эхо» с положительным ответом Блока на вопрос «Может ли интеллигенция работать с большевиками?», 19 января — «Знамя труда» со статьей «Интеллигенция и Революция», воспринятой как «бомба», 21 января — обструкция на «утреннике» в Тенишевском зале (Блок не присутствовал, но подробно записал эпизод в пересказе Сергея Есенина), «предостерегающие» статьи,

³ Блок А. Собр. соч.: в 12 т. Т. 8. Л., 1936. С. 235.

⁴ «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Подгот. текста М. М. Павловой; предисл. и примеч. М. М. Павловой и Д. И. Зубарева // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 57–58.

⁵ «Ныне я самый изгнанный» (лат.).

телефонные звонки... Параллельно — фиксация удручающих сторон повседневной жизни: холод, отсутствие трамваев, тревожные слухи, выстрелы на улицах, ночные дежурства во дворе («буржуев стеречь», «стеречь сон буржуев»)⁶, поездки за продуктами в ближайшие пригороды («...Люба в платочке уехала с Аннушкой в Сосновку — за провизией») и приметы надвигающегося кризиса: «Хлеба почти не дают» (ЗК, с. 383). 26 января выходит декрет о новом календаре, предписывающий переход с 1 февраля на новое летоисчисление — григорианский календарь: за 31-м января по юлианскому календарю (старый стиль) сразу следует 14 февраля по григорианскому (новый стиль). Этим объясняются некоторые хронологические «сбои» в эго-документах, в официальной документации, а также указание двойных дат (по старому и новому стилю) в ежедневной практике. 29 января Блок занесет в записную книжку сакраментальное: «Сегодня я — гений», зафиксировав таким образом завершение работы над поэмой «Двенадцать»...

Петр Пильский в это время живет другими настроениями. Он — среди той достаточно многочисленной части интеллигенции, которая не верила в прочность власти большевиков, совершивших *coup d'état*, и занимала выжидательную позицию. Уже находясь в эмиграции, он будет вспоминать, как на рубеже 1917–1918 годов группа литераторов в «нерадостном» настроении, но и без признаков «полного отчаяния», расположившись в квартире Власа Дорошевича на Петербургской стороне, вела разговор о том, «что век большевизма недолог». «Дорошевич хмур:

⁶ Запись Блока от 6 марта свидетельствует о диктуемом обстоятельствами неизбежном процессе приспособления к обыденным реалиям жизни: «От буржуев можно откупиться. В доме есть “безработные офицеры”, которым можно платить 12 рублей за ночь за дежурства» (ЗК, с. 393).

— А что, если они все-таки пробудут не три месяца, а, например, три года?

Но разве это мыслимо? Этого просто не может быть.

— Вы, Влас Михайлович, пессимист»⁷.



Петр Пильский. Фото. Рига. 1930-е годы

⁷ Трубников П. [Пильский П.] Духовные предки большевизма // Сегодня. (Рига). 1937. 23 окт.

Красноречиво свидетельство другого мемуариста, на этот раз представителя художественного авангарда — Юрия Анненкова, конгениального иллюстратора «Двенадцати», сторонника «революции в искусстве», одного из создателей современного Gesamtkunstwerk'a — массового театрального зрелища «Взятие Зимнего дворца» на Дворцовой площади в Петрограде, автора портретной галереи вождей пролетариата. В отличие от Блока, «в первые бешеные годы революции» настроенного на музыку «мирового оркестра», себя он относил к аутсайдерам — к той части интеллигенции, что наблюдала за пароксизмами русской революции как за увлекательным спектаклем, зрелищем. «Все страшное, что обрушилось вместе с ней на человеческую жизнь в потрясенной России, казалось нам эпизодом; захватывающим, трудным, может быть — необходимым, даже погибельным, но несмотря на это — не более чем эпизодом. <...> Мы не бились ни в рядах революции, ни в рядах ее противников. Но мы не были к ней равнодушны: каждое утро в ее первые годы мы ждали новых впечатлений. Мы были <...> “свидетелями истории” — впрочем, довольно поверхностными: мы смотрели и слушали, не всматриваясь и не вслушиваясь, как к тому призывал Блок. И мы стали против революции, лишь когда ее бессмысленная, позорная бесчеловечность сделалась для нас очевидностью. Или — в иных случаях — когда революция просто надоела нам, как может надоесть любое слишком затянувшееся зрелище»⁸.

Отсюда — иллюзии и надежды, которыми были вдохновлены отдельные институциональные замыслы, в том числе и организация Школы журнализма. Консолидация сил интеллигенции, пытавшейся занять позицию «над схваткой», была оправдана самим моментом и преследовала

⁸ Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. Т. 1. М., 1991. С. 72–73.

гуманные цели, в том числе и возможность дополнительного заработка в обстановке нарастающего дефицита продуктов, топливного кризиса, галопирующей инфляции. Среди интеллигенции росла безработица: закрывались учебные заведения, национализировались банки, промышленные предприятия, издательства, сфера медицинских услуг, не у дел оказались бывшие военные, министерские чиновники, конторские служащие, юристы. В лексикон недавно благополучных и обеспеченных граждан вошло тревожное слово «нужда». Обнищание интеллигенции и ее люмпенизация становились темой газетных корреспонденций. Так, в заметке «Нужда среди интеллигенции» отмечалось: «Нужда среди наименее обеспеченных слоев интеллигенции достигает в настоящее время своего предела. Интеллигенция начинает “деклассироваться” <...>. Много офицеров поступает в дворники, сторожа, служители за 150–200 рублей в месяц»⁹. Инициатива Пильского исходила из признания важнейшего фактора — социальной мобильности интеллигенции в кризисную эпоху, ее готовности реализовать свой интеллектуальный потенциал. В то же время проект, ориентированный на подготовку журналистов нового типа, призванных работать в условиях новой исторической формации, не имел под собой твердой основы. Ведь ее устроителям и прежде всего самому Пильскому были абсолютно неясны социальные перспективы происходящего, которые с необходимостью влекли за собой изменение структуры и конфигурации самого литературного поля. В практическом плане идея не имела будущего, поскольку жила инерцией прошлого. Приглашенные к участию в работе Школы журналисты разного ранга, литераторы, университетская профессура, организаторы типографского дела, специалисты по рекламе,

⁹ Наш век. 1918. № 13. 19 янв.

сформировавшиеся в обстановке буржуазной конкуренции, привыкшие к широкому спектру печатного рынка, плюрализму мнений и идей, и представить себе не могли той степени подавления свободы слова, какую продемонстрируют большевики в процессе установления государственной монополии на печать, включая торговлю печатной продукцией и ее распространение. Шла жесточайшая борьба за власть над умами и настроениями всех слоев населения. Обратимся к некоторым хроникальным свидетельствам и «человеческим документам» первых месяцев революции.

Уже 25 октября 1917 года, в первый день переворота, красногвардейцы заняли типографии петроградских газет «Русская воля» и «Биржевые ведомости». В ночь на 26 октября была закрыта газета «Наше общее дело», ее редактор В. Л. Бурцев арестован и препровожден в Петропавловскую крепость; утром прекратили выход «Новое время» (издатель Б. А. Суворин) и орган партии кадетов газета «Речь». 28 октября был приостановлен выпуск «Петроградского листка», издававшегося А. А. Измайловым (впоследствии газета меняла название, а с 30 ноября 1917 г. и вплоть до своего закрытия в августе 1918 г. выходила под названием «Петроградский голос»), однако уже 5 ноября в ней был опубликован гневный отклик редактора на большевистские акции, направленные против свободной печати. В статье «Распятое слово» высокий патетический слог и метафорика Голгофы соседствовали с реалистическими картинами расправы над инакомыслием: «Многострадальная печать <...> вынуждена была молчать, пригвожденная на кресте в обе длани солдатскими штыками. <...> Редакции не имели возможности помочь рассеянию слухов, предотвратить безумные расправы, двинуть пальцем в предупреждении ужасов. Даже социалистические газеты отбирали на улицах, перехватывали на заставах,

жгли на кострах»¹⁰. Наступление продолжалось. Декрет Совнаркома от 8 ноября о государственной монополии на объявления лишал газеты важнейшего источника финансовых средств. 18 ноября согласно резолюции ВЦИК по вопросу о печати от 17 ноября 1917 года состоялось массовое закрытие буржуазных газет. И если Измайлов все же питал иллюзии на контрреволюционный реванш, то его московский корреспондент, писатель чеховского круга А. С. Лазарев-Грузинский стоял на позиции абсолютного скептицизма. Его эпистолярное высказывание — еще одно яркое свидетельство множественности идеологических оценок и психологических реакций интеллигенции на происходящее. «С удовольствием почитаю Вашу газету и одобряю Вашу борьбу по человечеству, — писал он Измайлову 22 ноября 1917 года. — Но скептицизм говорит мне про ее бесплодность и про то, что в конце всех концов нас затопчут в болото. “Будут дни великого смятения”, и те, кто уцелеет после оногo, грустно споет нам, погибшим, реквием. Не вижу возможности русской интеллигенции уцелеть. Одно утешение: лет через пятьдесят она снова возродится. Только не жить уж в ту пору прекрасную ни мне, ни даже Вам, дорогой мой...»¹¹.

Новая власть в стремлении «до основанья» разрушить прежний жизненный уклад, подвергла регламентации и частную жизнь граждан. Так, официально были отменены рождественские и новогодние праздники, о чем, например, сокрушенно писал Измайлову тот же Лазарев-Грузинский 15 декабря 1917 года, свидетельствуя также и о наступающем

¹⁰ А. А. Измайлов: Переписка с современниками / Сост., вступ. ст. А.С. Александрова; предисловия, подгот. текстов и примеч. А. С. Александрова, Э. К. Александровой, Н. Ю. Грякаловой. СПб., 2017. С. 25.

¹¹ Там же. С. 26.

«газетном» голоде: «Хотя, как я слышал (сам я газет не читаю) одним из декретов Рождество и Н<овый> год отменены, позвольте держаться старины и поздравить Вас с милым праздником Рождества и грядущим Н<овым> годом. Что пожелать в Н<овом> году? Когда-то желали мы друг другу нового счастья. Но это было во времена деспотии, монархии, Победоносцевых и Плеве и т. д. и т. д. Теперь в блаженные времена республики — каких свобод пожелаем друг другу... Чего? Разве: — Только не нового позора! <...> Почему я не читаю газет? Потому что с 8 по 20/XII бурж<уазные> газеты в Москве решили не выходить, а “социал-демократические” мне читать не хочется ...»¹². 27 декабря 1917 года Совнарком принял декрет о печати, запрещавший выход оппозиционных новой власти изданий.

Новый 1918 год начался с очередных акций против оппозиционной прессы: 2-го января в помещении главной конторы и редакции газеты партии правых эсеров «Воля народа» был произведен обыск, арестованы члены и сотрудники редакции — более 25 человек. 3-го января закрыта меньшевистская газета «День», сотрудники редакции арестованы. Обстановку в Петрограде детально живописует еще один «человеческий документ» — письмо Измайлова к В. В. Розанову от 1 января 1918 года: «Дорогой Василий Васильевич, все эти дни мороз, голод, тьма, беспутие (заносы и прекращение трамв<айного> движ<ения>), ужасы бесправия изводили нас. <...> Душевно желаю Вам найти мир и спок<ойствие> для любимой работы, в чем можно найти единственное ныне утешение печали. Всё валится в бездну, всё изнемогло, что несло в себе искру благородства, мечты совершенства и просто вкуса. Никакой Дост<оевский> в “Бесах” не провидел всего нынешнего ужаса. Я не живу, а влачу существование. При деньгах — в доме холодно,

¹² Там же. С. 303.

голодно, темно (электр<ичество> не горит), на дело хожу пеш, огромные концы — вперед и назад. Измучился, изнемог, для себя не живу, своих почти не выдаю, своего — для души — дела не делаю, — газета берет всё; в награду ставя под риск каждодневного увоза в Смольный и посадки под арест»¹³.

Тревожные предчувствия Измайлова оправдались: 6-го января в результате устроенного красногвардейцами погрома в редакции и типографии газеты были разбиты и повреждены линотипы, рассыпаны шрифты... 9 января 1918 года газета «Наш век» сообщала: «6-го января в Петрограде можно было получить только большевистские газеты. Все остальные газеты до эсеровских включительно или совсем не попали в продажу, так как были захвачены красногвардейцами в типографиях, или же, попав в продажу, отбирались у газетчиков на улицах и тут же разрывались или предавались сожжению»¹⁴. На полное уничтожение небольшевистской прессы была направлена политика национализации всей материально-технической базы печатного дела: издательств, типографий, а также ликвидация рынка бумаги и замена его государственным распределением. 17 января 1918 года по инициативе В. Володарского (М. М. Гольдштейн) в Петрограде был сформирован Революционный трибунал по делам печати, решавший вопрос о закрытии изданий. Деятельность по борьбе с оппозиционной прессой Володарский продолжал координировать и позже, возглавив с 11 марта 1918 года Комиссариат печати, пропаганды и агитации Петроградской трудовой коммуны, в апреле преобразованный в Комиссариат Союза коммун

¹³ Там же. С. 486.

¹⁴ Наш век. 1918. № 5. 9 янв. 6 января Блок занес в записную книжку: «Большевики отобрали бóльшую часть газет у толстой старухи на углу» (ЗК, с. 382).

Северной области¹⁵. Поначалу, наряду с репрессиями против буржуазных изданий, наметилась относительная «либерализация» ситуации (хотя уже в мае начались публичные процессы против ряда небольшевистских вечерних газет), что было вызвано колебаниями в оценке декрета о печати в среде большевиков и левых эсеров, составлявших на тот момент коалицию. Это был период некоторой неопределенности, временное ослабление идеологического прессинга. Именно на этот краткий «промежуток» и пришелся «звездный час» Школы журнализма.

Первоначально сама идея показалась Пильскому полностью оторванной от реальности. О своих сомнениях тех лет он напишет в мемуарном очерке 1923-го года: «Уже ходил по Петербургу язвительными шагами голод. Уже были большевики. Уже национализированы банки. Уже опустел университет. Сумасшествием было открыть эту Школу Журнализма... Для чего? Для любителей? Потому что, какие же могли быть профессионалы в тот момент, когда все наши газеты последовательно, упрямо и зло закрывались?»¹⁶. Школа журнализма была задумана как гуманитарно-образовательное заведение, работающее на коммерческой основе. Сетую на отсутствие специального образования у репортеров, фельетонистов, редакторов, корректоров и прочих газетных работников, Пильский справедливо полагал, что современное развитие журналистики и газетного дела как ее части, то есть сферы масс-медиа, как сказали бы мы сейчас, требует образованных профессионалов, ориентирующихся в истории журналистики, всегда тесно связанной

¹⁵ Петроград на переломе эпох: Город и его жители в годы революции и гражданской войны / Отв. ред чл.-корр. РАН В. А. Шишкин. СПб., 2000. С. 304.

¹⁶ Пильский П. Литературные края // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Т. IV. Рига, 1999. С. 354.

с общественно-политическими движениями, в психологии, экономике, современной политике, осведомленных в технологиях типографского дела, рекламе, знакомых с зарубежным опытом. С этой целью для чтения курсов, циклов и отдельных лекций — в Школе читались лекции по 42 предметам — были приглашены видные ученые, профессора, преподаватели Петроградского университета филолог-классик Ф. Ф. Зелинский, историк русской литературы С. А. Венгеров, германист Ф. А. Браун, славист Н. В. Ястребов, литературоведы А. К. Бороздин, К. А. Мочульский, библиограф Л. К. Ильинский, юрист Б. С. Миркин-Гецевич, этнограф В. Г. Тан-Богораз, курс театральной критики вел П. П. Гнедич, специальные курсы газетного дела — журналисты Аркадий Бухов, А. В. Руманов, И. М. Розенфельд, три лекционных курса («О фельетоне», «О журнализме», «О французской печати») взял на себя пользовавшийся всероссийской известностью и популярностью журналист и фельетонист В. М. Дорошевич — именно ему Школа, по мнению ее организатора и директора, была обязана своим успехом.

Предприятие Пильского, помимо уже отмеченных характеристик, обладало еще одной приметой «современности»: оно удачно вписывалось в тот спектр образовательно-культурных инициатив, которые новая власть реализовывала под лозунгом «творчества масс». На этом фоне «буржуазное» по сути предприятие удачно мимикрировало под востребованный революционным временем тренд «овладения знаниями». Пильский приводит количество записавшихся слушателей: 111 человек. Современный исследователь, обратившийся к фонду Дома литераторов (ф. 98) в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, в составе которого сохранились документы, относящиеся к деятельности Первой Всероссийской школы журнализма, скорректировал эту цифру: «Первоначально в Школу записались более 130 человек, закончили ее только



Влас Дорошевич

110 слушателей. <...> Образование было платным, поэтому не все могли внести деньги за обучение. Первый взнос составлял 100 рублей. К 11 апреля 1918 г. слушатели должны были сделать второй взнос, но безработица и рост цен не позволили некоторым слушателям продолжить обучение...»¹⁷, были и другие веские причины, вынуждавшие в это

¹⁷ Недлин Л. Я. Из истории журналистского образования в России: Первая школа журнализма в Советской России (Петроград,

катастрофическое время прервать обучение. Курс был трехмесячный в объеме 200 лекционных часов, занятия «через день от 4 ½ вечера до 9 ½ вечера», «плата за 3 месяца — 300 руб.», аттестатов об образовании не требовалось¹⁸. Автор цитируемой статьи на основе представленных в архиве анкет слушателей и списка выпускников 1918 года (а это был первый и единственный набор в Школу) приводит сведения по образовательному уровню слушателей (высшее образование — 26%, среднее — 54%, начальное — 3%), возрасту (средний возраст — 32 года), профессиональному составу; более того, ему удалось найти информацию о дальнейшей судьбе десяти выпускников Школы, и за страницами официальных документов возникли силуэты конкретных людей: из наиболее известных — ученый-китаевед Б. А. Васильев, писатель А. Н. Новиков, скульптор-монументалист Ю. Н. Свирская...

В течение февраля 1918 года прошел ряд организационных мероприятий. 25 февраля состоялось собрание профессоров и лекторов Школы: оно избрало Директорскую коллегию, куда, кроме самого П. М. Пильского, директора-учредителя, вошли С. А. Адрианов, Ф. А. Браун, Ф. Ф. Зелинский, В. Г. Тан-Богораз, А. В. Руманов, Б. Е. Шацкий¹⁹. Дискуссионным оказался первый вопрос повестки дня, касающийся содержательной части лекционной программы. На предложение приват-доцента Б. С. Миркина-Гецевича (псевд. Б. Мирский), специалиста по международному праву, ввести лекции, разъясняющие программы различных политических партий, Пильский, согласно протокольной записи, ответил несколько уклончиво, что свидетельствует

1918 г.) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2016. № 1(35). С. 82.

¹⁸ РО ИРЛИ. Ф. 98. Оп. 3. Ед. хр. 3.

¹⁹ РО ИРЛИ. Ф. 98. Оп. 3. Ед. хр. 2.

о его стремлении придать предприятию политически нейтральный характер: «...в распоряжении Дирекции есть свободные часы, но трудно найти вполне объективного лектора, а приглашать представителей различных партий и тем вносить в Школу политическую страстность и диспуты было бы нежелательно»²⁰. Мнения разделились, в результате было решено «выбрать лектора для этого предмета» из числа преподавателей Школы. Ставился вопрос об издании «Вестника Школы журнализма»²¹, что справедливо было сочтено преждевременным. Собрание утвердило проект расписания лекций, представленный секретарем Школы В. Н. Васильевой. В архиве сохранились варианты афиш с перечнем лекций, предлагаемых слушателям. На них в тематическом цикле под общим названием «История критики и публицистики» значится (под № 6) и лекция Блока. Это были так называемые приватные лекции, то есть не входившие в обязательный курс обучения, продолжительностью 2 часа каждая.

История критики и публицистики

- I. О Новикове и Радищеве — прив.-доц. Л. К. Ильинский
- II. Эпоха Белинского — проф. С. А. Венгеров
- III. О Герцене — прив.-доц. Л. К. Ильинский
- IV. Добролюбов — А. Г. Фомин
- V. О Писареве — Петр Пильский
- VI. Ап. Григорьев — Александр Блок
- VII. О Чернышевском — прив.-доц. Л. К. Ильинский
- VIII. Лавров и Михайловский — А. А. Гизетти
- IX. Достоевский как публицист — А. Л. Волюнский
- X. Н. В. Шелгунов — А. А. Гизетти

²⁰ Там же. Л. 1, 2.

²¹ РО ИРЛИ. Ф. 98. Оп. 3. Ед. хр. 3.

XI. Скабичевский — Протопопов — Евг. Соловьев — Петр Пильский

XII. Публицистика <18>70 и <18>80-х годов — Н. П. Аше-шов²².

Расписание и программа постоянно корректировались, в уже отпечатанные экземпляры афиш вносилась правка, так, на одном из этапов вышеприведенный цикл предполагалось изъять (текст зачеркнут), но в итоге он был восстановлен. В ходе работы над программой какие-то лекции добавлялись: появились лекции А. А. Измайлова «О Чехове», «Новейшая русская литература (После Чехова)» Пильского, «Романтизм как философско-литературное и общественно-политическое движение» проф. Брауна, «История и внешняя политика» Б. С. Миркина-Гецевича. Целый ряд лекций был посвящен собственно газетной тематике: «Редактор и газета» А. В. Амфитеатрова, «О репортере и газете» А. И. Куприна, «Экономика газетного хозяйства» И. И. Левина, «Искусство и техника рекламы в периодической печати» А. Г. Ратнера, «Эзопов язык» С. Б. Любошица и другие. В периодической печати регулярно публиковались пресс-релизы, отчасти рекламного характера. Так, 2 марта газета «Наш век» поместила сообщение об очередном этапе подготовки Школы к открытию, отдельной строкой шло упоминание об участии в работе Школы известного всей России «короля фельетона»: «В число лекторов школы вступил В. М. Дорошевич, который прочтет ряд лекций о журнализме, французской печати и о печати во время великой французской революции»²³. Лекция Дорошевича, посвященная журналистике периода Французской революции, была особенно популярна: впервые прочитанная

²² Там же.

²³ Наш век. 1918. № 38. 2 марта.

в Школе журнализма «с исключительным успехом», она была затем повторена в театре «Аквариум» на Каменно-островском пр., с ней он несколько раз выступал в Москве и других городах, демонстрируя при этом аудитории собственную коллекцию подлинных изданий той эпохи. Наиболее «ударные» моменты лекции были вынесены на афишу:

«Великая Французская революция (ее журналисты):
Камилл Демулен — Марат, “Друг народа”.
Эбер — “пэр Дюшен”. — Капитан артиллерии Наполеон Буона-Партэ. Голод — Террор — Гражданская война. — Надежды на всемирную революцию. — Контрреволюционеры. — Энтузиаст революции — Фанатик террора — Шуты “Святой Гильотины”. — Революция и карьера»²⁴.

Автор газетного отчета обратил внимание на специфику подачи материала лектором: «Не в виде анализа причин и следствий, ученых выкладок и сухих рассуждений предстала перед многочисленными слушателями одна из замечательнейших эпох человеческой истории. В. М. Дорошевич развернул ее в форме блестящих картин, тонких характеристик, метких определений и живых образов. Поставив эпиграфом своей речи, казалось, незначительный факт — казнь парижской кухарки, В. М. Дорошевич сумел раскрыть и в малом весь характерный облик великой революции. Быть может, порою разгадывая черты не только определенного быта, но и революционности вообще. Многие из рассказанного знакомо по личному опыту и нам: и голод, и недовольство, и дороговизна, и хвосты, и террор с его законом „дрожать и заставляя дрожать“, и, наконец, безудержный поток слов, бурление бесчисленных речей, смешанных

²⁴ РО ИРЛИ. Ф. 98. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 26.

с кровью»²⁵. Упомянутый корреспондентом эпизод — «казнь парижской кухарки» — был представлен лектором следующим образом. Дорошевич «начинал с истории одной парижской кухарки, которая, узнав на рынке, что жалкая утка стоит 20 ливров, подняла истошный крик: “Черт бы вас всех взял со всей вашей революцией! Стоило делать революцию, чтобы умирать с голоду! При короле руанская утка — руанская! — стоила восемь ливров. Можно было даже ливр положить себе в карман. Вот постойте! Придут немцы и англичане, перевешают всех ваших якобинцев и наведут вам порядок“. Кухарку, разумеется, арестовали и отправили в Революционный трибунал, где приговорили к смертной казни <...>. Депутат Конвента Мазюйе заявил, что вступится “за эту женщину” <...>. Но пока дело решалось в Конvente, а затем в Революционном трибунале, где защитник “прав человека и гражданина” цитировал Плутарха и Руссо, кухарку успели казнить»²⁶. Сюжет вполне в духе «микроистории» Карло Гинзбурга!

10 марта (25 февраля ст. ст.) состоялось открытие Школы. Помещение арендовалось в старейшем, существовавшем с 1871 года, частном реальном училище Н. В. Богинского по адресу Невский проспект, 83, кв. 13. Со вступительным словом выступил основатель и директор Школы Петр Пильский. Согласно отчетам петроградских газет, на церемонии открытия присутствовало много журналистов и слушателей. 12 марта должны были начаться занятия. А на воскресенье, 13 марта, была объявлена лекция Блока «Аполлон Григорьев».

Незадолго до открытия, 3 марта, Блок получил напоминание, вероятно, от секретаря Школы В. Н. Васильевой,

²⁵ Наше слово. 1918. № 15.

²⁶ Цит. по: Букчин С. Влас Дорошевич. Судьба фельетониста. М., 2010. С. 257

о предстоящей лекции (ЗК, с. 392). 4 марта он садится за работу: «Немного Григорьева» (ЗК, с. 393). Однако постоянная загруженность текущими литературными и организационными делами, хроническая усталость, недоедание, растущая духовная изоляция не способствуют сосредоточенности: «<...> Одиночество. Что-то тяжелое делается. <...> Потеряна почва. <...> Безделье, возня с бумажками, злые и одинокие мысли. Бурная злоба и что-то особенно скребет на душе. <...> Но где же опять художник и его бесприютное дело?» (ЗК, с. 393, 394). 8 марта вновь «тел<ефон> от Пильского»²⁷. Можно предположить, что он приглашал на открытие Школы, но, возможно, речь шла и о переносе лекции: в архивных материалах зафиксирована новая дата — 15 апреля²⁸. 10 марта Блок отметил: «Открылась школа журналистов (речи Зелинского и Пильского)» (ЗК, с. 394). В это время Блок дописывает предисловие к Р. Вагнеру («Искусство и революция»), рецензирует пьесы, поданные на конкурс А. Н. Островского, продолжает работу над книгой «Последние дни императорской власти», которая 29 марта окончена «вчерне», заседает в Репертуарной секции при Театральном совете, тяжело реагирует на выпады прессы против его «большевизма» и «скифства», обдумывает литературные планы, редактирует, читает корректуры, отвечает на письма, принимает посетителей... Новости политики не радуют, бытовые неурядицы растут: по ночам гаснет электричество, реальной становится угроза квартирного уплотнения²⁹, появляются записи: «нестерпимо

²⁷ РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 29 об.

²⁸ РО ИРЛИ. Ф. 98. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 25.

²⁹ 1 марта 1918 г. Петросовет принял декрет «О вселении семейств красноармейцев и безработных рабочих в квартиры буржуазии и о нормировке жилищных помещений» (опубл.: Известия. 1918. № 38. 2 марта).

холодно и — голодно» (13 марта), «Угрюмый день» (14 марта); «Ужасный день. Бедный я» (18 марта). Мысли о бесчеловечности политики, о ее равнодушии к судьбам людей оформляются со ссылкой на Августа Стриндберга: «В то время как жестокая, реальная политика воплощается неуклонно, в разных местах мира хиреют, устают, умирают, гибнут “простые” и “непростые” люди (Стриндберг)» (ЗК, с. 395). 24 марта среди реалий текущего дня Блок фиксирует: «В 2 часа дня Дорошевич читает на курс<ах> журн<ализма> (Невск<ий> 83) лекцию о журналистах франц<узской> революции», и помета на полях: «не пойду я»³⁰. Вечером этого дня пришло известие о смерти Ангелины, единокровной сестры Блока.

6 апреля звонок от Пильского. Скупая карандашная запись телефонного сообщения сопровождается эмоциональной пометой — жестом на грани срыва, и графика отражает эту нервную напряженность:

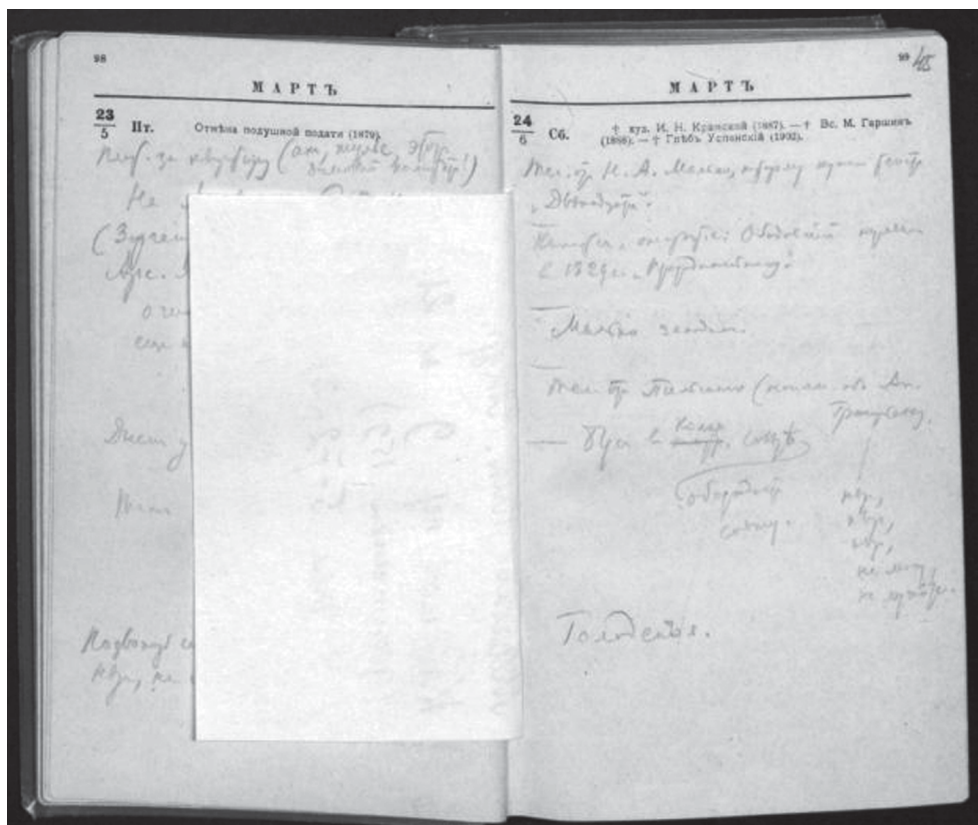
«Тел<ефон> от Пильского (напом<инает> об Ап.
Григорьеве)

/
нет,
нет,
нет,
не могу,
не мучайте.

Голоден я»³¹.

³⁰ РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 37 об. Это была первая публичная лекция, какие по решению дирекции Школы журнализма стали устраиваться для привлечения публики с коммерческими целями.

³¹ РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 45. Ср.: ЗК, с. 398.



Страница записной книжки № 56

Перенесенная на 15 апреля лекция Блока была заменена выступлением Власа Дорошевича на тему «Французская газета»³². Но мысли о «последнем романтике» не пропали втуне. Они нашли воплощение в небольшом очерке «Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве» (авторская датировка: «Весна 1918»). Это, если угодно, откровенный

³² РО ИРЛИ. Ф. 98. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 32.

самоотчет о творческой неудаче и искренняя попытка найти ей психологическое объяснение, с апелляцией среди прочего и к *Zeitgeist* — «духу времени». «Я должен был прочесть лекцию о критике сороковых годов Аполлоне Григорьеве, которым я много занимался несколько лет назад. Попробовав сызнова войти в богатое царство его мыслей и в его несравненную эпоху, я почувствовал вдруг, что не сумею этого сделать. Наше время не вмещает сороковых годов, их нет “в воздухе”. Наше время отличается тем, что оно выталкивает из себя все чужеродное, торопя нас к другим далям. Когда писатель “не звучит”, когда его пафос не таков, как наш, у нас нет сейчас времени входить в какие бы то ни было детали, касающиеся этого писателя. У нас нет времени в этот крылатый и грозный час истории тревожить чей-либо мирный прах, подымать археологическую и книжную пыль. Все мы в эту роковую минуту истории должны быть в постоянном стремлении и порыве»³³.

Такого писателя и такого персонажа, чей пафос был бы созвучен «духу времени», Блок наконец находит. Это Хенрик Ибсен и его герой, мятежник и бунтарь Люций Сергей Катилина, возглавивший в 62 г. до н. э. государственный заговор против римского нобилитета, образ, вдохновивший в эпоху европейских революций середины XIX века молодого норвежского драматурга на создание одноименной исторической драмы (1850). К новой теме Блок, как часто у него бывало, пришел движимый ассоциативной логикой творческого процесса. 18 апреля 1918 года отмечено окончание работы над «Предисловием» к оставшейся незавершенной книге итальянских впечатлений «Молнии искусства». К работе, начатой осенью 1909 года, почти сразу по возвращении из Италии, но отложенной, Блок ритмично возвращался на протяжении нескольких лет. Новые

³³ Блок А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 6. М., 1962. С. 26.

импульсы замысел получил в период, последовавший за Октябрьским переворотом, когда на оси исторических соответствий оказались соотнесены гибель Римской империи в результате нашествия варваров и конец петербургского периода русской истории, первые века утверждения христианства и новая религия большевизма. Здесь развиваются или же звучат впервые риторические формулы и мотивы революционной публицистики Блока: крушение гуманизма, гибель цивилизации, грядущие варвары, разрушающие ценности старого мира, тема возмездия и жертвенной гибели, как и лирический образ художника — свидетеля исторических катаклизмов. Блок лишь отчасти пойдет по пути исторических аналогий: тему Древнего Рима он превратит в сложную метафорическую конфигурацию, где историческое и антропологическое будут взаимно соотнесены, а смена эпох представлена через аффект и эксцесс — бунт, заговор, революцию, перверсию. Не случайно воспоминание о 63-м стихотворении Катутла в переводе Фета станет кульминационным моментом в развитии замысла и определит не просто композицию очерка о «римском большевике», но его нерв. Миф об Аттисе, захваченном оргийным культом богини Кибелы и оскопившем себя в припадке иступления, был переложен Катутлом «неровным», «скачущим» размером галлиамба, с которым у Блока ассоциировалось описание походки Катилины («общее место», восходящее к Саллюстию) и его темперамент мятежника и бунтовщика. Катилина для Блока — архетип революционера, так же как Аттис, как Иисус Христос.

В записной книжке № 56 Блок пунктирно отмечает этапы развития замысла — с 22 апреля по 16 мая, сопровождая их попутными замечаниями, которые найдут сюжетное и мотивное развитие как в самом очерке, так и в дневниковых заметках и эпистолярной записи от 22 апреля первое упоминание «Катилины» сопровождается

предварительным списком источников. Указания на источники находим и в рукописи, перечислим лишь основные: «Реальный словарь классической древности» Ф. Х. Любкера, «Малый энциклопедический словарь» издательства Ф. Брокгауза и И. А. Ефрона, «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, «Очерк римской истории и источниковедения» (1899) немецкого историка Б. Низе, статья И. Бабста «О Саллюстии и его сочинениях» («Прописи», кн. 1, 1851), исторические памятники — «О заговоре Катилины» Саллюстия, речи Цицерона против Катилины (так называемые Катилинарии) и, конечно, 1-й и 8-й тома Полного собрания сочинений Ибсена (в 1-м опубликована сама драма вместе с «Предисловием автора ко второму изданию», в 8-м — статьи, речи и письма драматурга, также входившие в круг блоковского внимания)³⁴. Почти все материалы имелись в библиотеке Блока, большинство из них содержат его пометы и маргиналии в виде подчеркивания отдельных строк, фраз, имен, дат, отчеркиваний фрагментов текста, порой всей страницы, мнемонических знаков на полях, в том числе NB; лексические маргиналии достаточно редки³⁵.

На время работы Блока над «Катилиной» приходится пик хлебного кризиса. К концу апреля ситуация с продовольствием в Петрограде становится критической. «Вот он “голод”. Выдают по 1/8 фунта хлеба на день. На рынках ничего нет...», — записывает 1 мая 1918 года очевидец тех

³⁴ РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 213. Л. 1. Очерк, вышедший отдельным изданием под названием «Катилина. Страница из истории мировой Революции» (Пб.: Алконост, 1919), первоначально писался как лекция, о чем свидетельствуют характерные обращения к аудитории и другие приемы устной речи, подвергшиеся правке при подготовке текста к печати.

³⁵ См.: Библиотека А.А. Блока. Описание / сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина; под ред. К. П. Лукирской. Кн. 1–3. Л.: БАН, 1984–1986 (по указ.).

событий, улавливая признаки политического недовольства: «Многие уже предрекают, что пришли последние дни для большевиков»³⁶. В унисон этим настроениям звучит блоковская реплика о «лебединой песни революции». Приводим хронику работы Блока над лекцией (очерком) «Катилина». Записи Блока фиксируют не только фактическую сторону дела, но и эмоциональные подъемы, моменты сомнений, соматические реакции, раздражение и на этом фоне — поиски организующих концептов и ритма будущего текста.

«22 апреля. «Катилина» Ибсена (Ибсен, I, VIII, Низе, Любкер, Ефрон — Катилина, Цицерон, Саллюстий). Вечером — весенняя прогулка. Какая-то бодрость.

23 апреля. Очень плохое состояние. Невозможность работать; сонливость...

24 апреля. Катилина (опять). Тема уж очень великолепна. Все сызнова, несмотря на усталость.

25 апреля. Катилина. Какой близкий, ЗНАКОМЫЙ, печальный мир! И сразу — горечь падения. Как скучно, известно. Ну что ж, Христос придет. Катилина захотел нескучного, не пышного, не красивого, недостижимого. И это тоже скучно.

26 апреля. <...> Катилина — все-таки.

*27 апреля. Катилина. Все утро — тщетные попытки. Шорохи тети и рояль за стеной доводят почти до сумасшествия. Все двери заперты (как всю неделю). Днем — беспокойный сон *старика*. О, если б отдохнуть! — Вдруг к вечеру — осеняет (63-е стихотворение Ювенала <Катулла. — Н. Г.> — ключ ко всему!). Сразу легче.*

³⁶ Князев Г. А. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 1915–1922 гг. / Подгот. текста, предисл. и примеч. А. В. Смолина // Русское прошлое: Историко-документальный альманах. 1993. Кн. 4. С. 52, 51.

28 апреля. Сверка статьи о последних днях... Катилина. — Голод. К вечеру — ясность опять — в сердце и в дом<е>.

29 апреля. «Катилина». Телефон от Пильского (я буду читать лекцию о Катилине — темы пока не назвал. Зовет читать на вечере в Народном доме — Куприн, Шаляпин).

30 апреля. Ни пищи, ни денег.

9 мая. <...> Телефон от Пильского (прошу поставить Любу на афише Народного дома — вечер будет в мае).

14 мая. <...> К вечеру — инфлуэнца.

15 мая. <...> «Катилина» — почти не могу. Нет, не могу, ломает и знобит.

16 мая. <...> «КАТИЛИНА» — весь день. Лебединая песня революции? Жар меньше.

19 мая. Лекция о Катилине на курсах журналистов (2–4 часа. Невский 83, кв. 13 — реальное училище Б<о>гинского). Были мама, Франц, Е. Ф. Книпович и несколько десятков неизвестных лиц» (ЗК, с. 402–408).

Афиши и газетные анонсы Школы журнализма — единственные источники, где лекция Блока фигурирует под названием «Катилина. О темпераменте истинного революционера»³⁷. Оно адекватно отражает авторскую интенцию и, по-видимому, было предложено самим Блоком.

Еще одна сфера деятельности под эгидой Школы, в которую оказался вовлечен Блок, — концерты и «вечера искусства», устраиваемые дирекцией с коммерческой целью («в пользу Школы журнализма»). Блок участвовал в подобной акции лишь однажды — 4 июня 1918 года, но протежировал Любови Дмитриевне (см. выше запись от 9 мая), в репертуар которой входило чтение со сцен театров, концертных залов и кабаре («Привала комедиантов»,

³⁷ Литературная жизнь России 1920-х гг. События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Часть 1. Москва и Петроград 1917–1918 гг. / Отв. ред. А. Ю. Галушкин. М., 2005. С. 192.

например) поэмы «Двенадцать». Проведение «Вечера искусства» первоначально планировалось в Народном доме, но в итоге он состоялся в Мариинском театре. 28 мая Блок занес в записную книжку: «...Белая ночь. Меня пугают гигантские афиши с именами Шаляпина, Пильского, Куприна, Любы, меня, Амфитеатрова, которыми заклеена Офицерская» (ЗК, с. 409). Такая афиша сохранилась и в архиве. Литературно-музыкальный вечер состоял из двух отделений:

Отделение 1

Слово «Об искусстве». Читает профессор Ф. Ф. Зелинский.

«Счастье». Рассказ читает автор — А. И. Куприн.

«О Руси». Стихотворение прочтет автор Александр Блок.

Сонаты Рубинштейна <D-dur>, оп. №18.

Исп. профессор И. Пресс (виолончель) и С. О. Давыдова (рояль).

Отделение 2

«Уймитесь, волнения страсти», трио Глинки.

Исп. И. Пресс, С. О. Давыдова, Ф. И. Шаляпин.

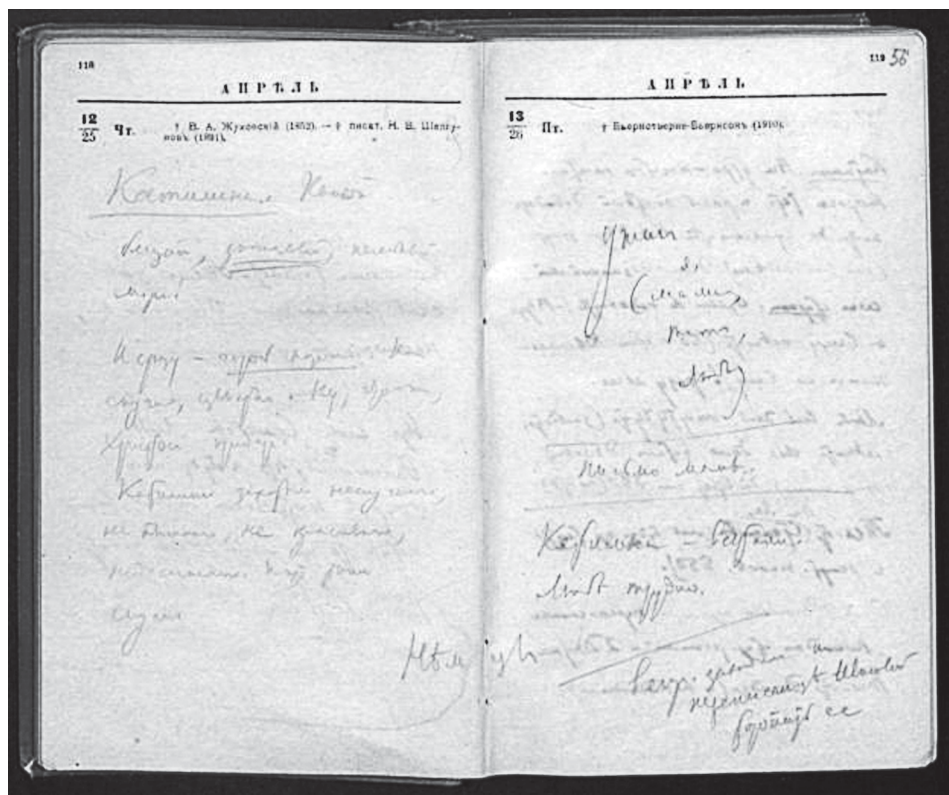
«Вечернее письмо» прочтет автор Петр Пильский.

«Двенадцать» А. Блока прочтет г-жа Л. Д. Блок-Басаргина.

«Жисть» прочтет автор А. В. Амфитеатров.

Романсы. Исполнит Ф. И. Шаляпин. Аккомпанирует В. С. Маратов³⁸.

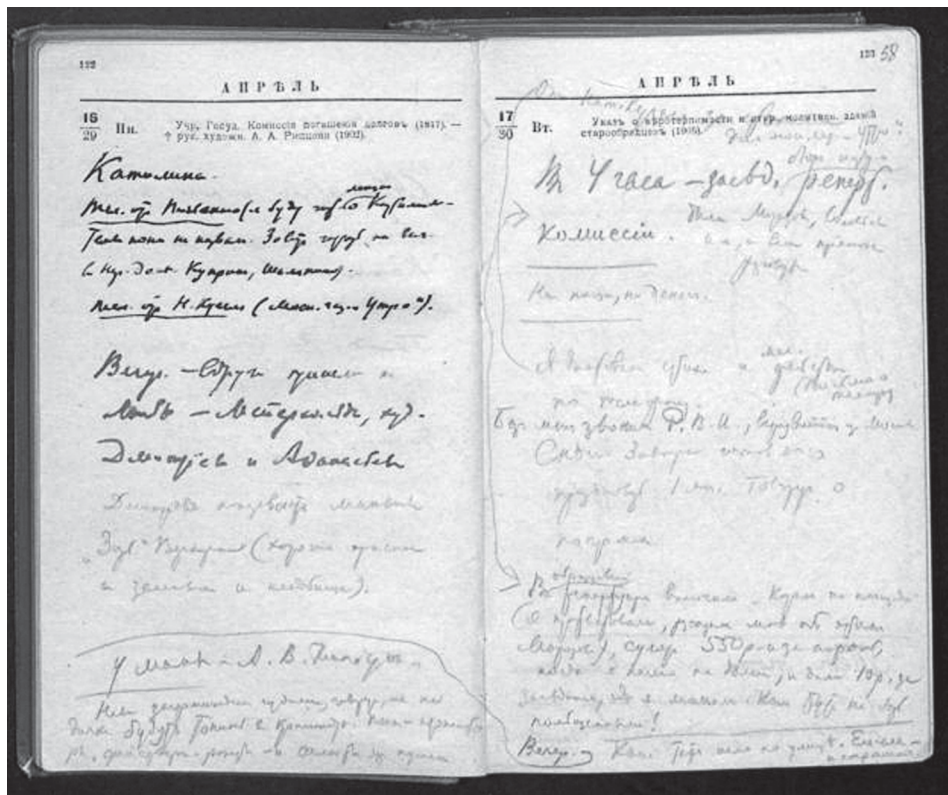
³⁸ РО ИРЛИ. Ф. 98. Оп. 3. Ед. хр. 3. Л. 40. В программе неточность: стихотворение Блока называется «Русь» («Ты и во сне необычайна...»). Но, возможно, Блок читал также и другие стихотворения (например, «Россия»).



Страница записной книжки № 56 с записями
о работе над лекцией о Катилине

После некоторых колебаний Блок все-таки решил выступить на вечере с чтением стихотворения (ср. запись от 4 июня, где последняя фраза приписана: «Вечер в [Нар<одном> Доме] Мар<иинском> театре (в пользу школы журнализма): Люба, я, Амфитеатров, Пильский, Курприн, Шаляпин, Зелинский. Я не буду. Нет, таки читал, после Шаляпина и благополучно»³⁹). На событие культурной

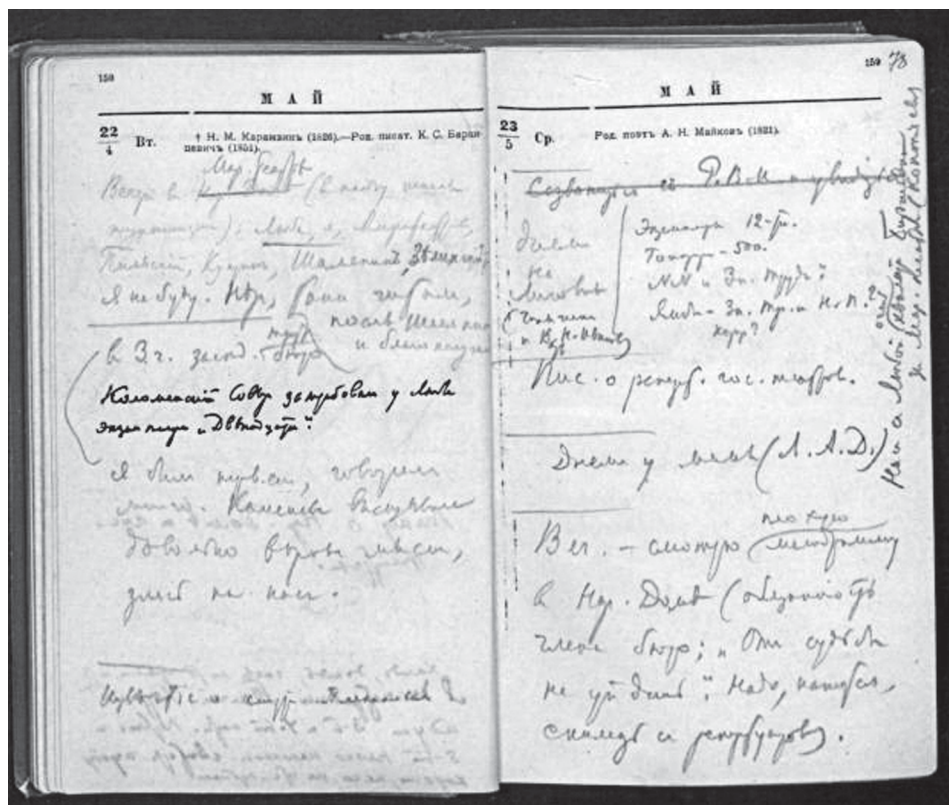
³⁹ РО ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 77 об.



Страница записной книжки № 56 с записью о лекции в Школе журнализма

жизни Петрограда прореагировала пресса⁴⁰, а Блок на следующий день отметил: «Нас с Любой очень хвалит “Биржевка” за Мариинский театр (Коптяев)» (ЗК, с. 410), имея в виду статью в «Новых ведомостях», автор которой констатировал: «Стихотворение А. Блока “Двенадцать“, целую современную драму революции и развала, прочла г-жа Блок-Басаргина. В голосе — много тонов страсти, горечи,

⁴⁰ Литературная жизнь России 1920-х гг.... С. 207.



Страница записной книжки № 56 с записью
о «Вечере искусства» в Мариинском театре

сарказма, отчаянья, страшных контрастов. То шепот, то крик, то описание, то вызов кому-то. Но вот он и сам (во втором отделении), — таинственный, оригинальный поэт, которого читает вся мыслящая Россия. “О Руси” прочел он, о бедной, страдавшей нашей родине»⁴¹. При

⁴¹ Коптяев А. Концерт «Вечер искусства» // Новые ведомости. 1918. № 78. 5 июня. С. 8. Ср. еще один отзыв о «Вечере искусства»: «...с одним из модернистских стихотворений Ал. Блока “Двенадцать”

посредничестве Пильского в августе 1918 года было организовано выступление Л. Д. Блок с чтением «Двенадцати» в Летнем саду. В записных книжках Блока зафиксировано еще несколько телефонных звонков от Пильского, в том числе с «деловыми» предложениями прожектерского свойства (например, 20 июня: «Телефон от Пильского (предлагает 12000 в год за председательство в каком-то комитете)» (ЗК, с. 413)).

В Школе журнализма заканчивался сезон. 27 июня 1918 года состоялось итоговое заседание Дирекционного комитета. С учетом уже имеющегося опыта были скорректированы направления деятельности в будущем: следующий набор должен был объявляться на сентябрь–ноябрь 1918 года, лекции, по разным причинам не состоявшиеся в прошедшем сезоне («Техника стиха и современные поэты» Ф. Сологуба, цикл Н. О. Лернера по истории русской прессы XIX века и др.), переносились на осень, предполагалось актуализировать тематику лекций и разработать цикл «Современные вопросы». Согласно имеющимся в архиве финансовым документам, никакой прибыли организаторам Школа не принесла, оказавшись не коммерческим, а по сути благотворительным предприятием.

выступила с пафосом г-жа Блок-Басаргина. В нем немало жут<и> и остроты, чисто садического упоения, которые сблизают его с родственным по настроению... танцем французских апашей. Г. Блок выступал и лично, с другими менее “мятежными” и даже “патриотическими” произведениями, посвященными опозоренной, униженной родине, но особенного успеха в публике не имел. Более посчастливилось в этом отношении “реал<ис>ту” А. И. Куприну, прочитавшему свою сказку “Счастье” и на *bis* современную фантазию, где не без сарказма описаны социалистические эксперименты, проделанные дикими племенами, после того, как в их стране поднялось восстание, вызванное голодом и поддержанное “бабьим бунтом”» (Новый вечерний час. 1918. № 81. 5 июня. С. 4; подпись: Nemo).

Галопирующая инфляция заставляла урезать лекторские гонорары: так, 11 мая Директорская коллегия рассматривала вопрос о необходимости снижения ставки до 25–35 руб. за час (первоначально расчет с лекторами шел по ставке 50–75 руб. за час, что было выше общепринятой в то время нормы в 25 руб. за час)⁴².

Пошатнулась и благонадежность Школы. 9 мая 1918 года в вечерней газете «Петроградское эхо», сотрудником которой Петр Пильский являлся, был опубликован его памфлет под названием «Смирительную рубаху!», где он сравнивал большевистских комиссаров с душевнобольными и предлагал, надев на них смирительные рубахи, изолировать в домах для буйно помешанных. В тот же день Пильский был арестован и отправлен в камеру при Революционном трибунале, затем переведен в Военную тюрьму, но через несколько дней выпущен на поруки до суда. Еще некоторое время пробыв в Петрограде, Пильский, не дожидаясь суда, 20 октября выехал в южном направлении — так началась его эмигрантская одиссея⁴³.

Лето 1918 года не сулило никаких перспектив свободной журналистике. 20 июня в результате покушения был убит В. Володарский, инициатор репрессий в отношении оппозиционной прессы. 4 августа 1918 года Совнарком принял декрет о закрытии всех буржуазных газет и аналогичное Постановление комиссариата Северной области по делам печати. Начиная складываться система однопартийной советской журналистики.

⁴² РО ИРЛИ. Ф. 98. Оп. 3. Ед. хр. 6. Л. 1.

⁴³ См.: Меймре А. Из Совдепии в чужеземную Россию: Бегство П. М. Пильского // Новый исторический вестник. 2000. № 2. С. 45–51.

Ольга Демидова

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РУССКОГО РАССЕЯНИЯ

Физическая география русской эмиграции (речь идет преимущественно об эмиграции первой и в меньшей степени — второй волны) невероятно широка и с незначительными исключениями охватывает оба полушария и почти все континенты. Жители бывшей Российской империи, оказавшиеся в результате исторической катастрофы 1917 года за пределами родины, со временем осели в Европе, Азии, Африке, в обеих Америках и в Австралии. После окончания Второй мировой войны к ним присоединились бывшие граждане Советского Союза, у которых по тем или иным причинам не было возможности (или желания) вернуться в СССР.

География метафизическая значительно шире — по сути дела, это география принципиально иного порядка. Если с точки зрения «физики» справедливо говорить о Зарубежной России как о государстве без границ (в прямом и переносном смысле этого термина), то с точки зрения «метафизики» она представляла собой государство «вне» границ и «над» ними. Российские изгнанники, разбросанные судьбой по нескольким континентам и десяткам стран, не имевшие ни собственной территории, ни своего правительства, образовывали, тем не менее, некое неразделимое единство, основанное на единстве Духа, нашедшего

выражение в Слове. Причиной этого была свойственная русской культуре литературоцентричность; следствием — богатство и разнообразие литературного наследия эмиграции, приросту которого способствовали прозаики и поэты обоих поколений, жившие во всех без исключения центрах рассеяния.

Таким образом, на пересечении физического и метафизического пространств сложилась еще одна география эмиграции — поэтическая, возникшая как результат взаимоналожения первого и второго, проросшая на новой, поначалу чуждой, но со временем освоенной почве, соединившая «свое» и «чужое», переплавившая их и явившая миру нечто качественно новое.

На первый взгляд, физическое пространство эмигрантского обитания определялось факторами внешнего, индивидуального порядка и в силу этого складывалось как будто стихийно: способ и пункт пересечения границы и, соответственно, страна, в которой оказывались изгнанники, зависели от целого ряда неподвластных их воле обстоятельств. Многие жители обеих столиц, бежавшие на юг России и на Украину в надежде переждать там недолгое, как им казалось, время правления большевиков, в конце концов вместе с остатками армии ген. Врангеля вынуждены были эвакуироваться по Черному морю в Константинополь после окончательного поражения Белого движения; многие из них впоследствии перебрались в Сербию и Болгарию, но кто-то остался в Турции или на арабском Востоке, где располагались военные лагеря для остатков русских армий. Северные армии эвакуировались морским путем в Англию и США. Многие гражданские петербуржцы с риском для жизни пешком по льду, на лодке или вплавь перебирались через Финский залив в Финляндию или переходили российско-эстонскую границу. Те, кто родился на территории лимитрофов, оптировали новое гражданство. Многие

выезжали из России через Польшу; кто-то оседал там, а кто-то добирался до Чехословакии, Германии, Франции. Жители восточной (зауральской и сибирской) части империи двигались на восток и в конце концов образовали восточную ветвь эмиграции с центрами в Харбине и Шанхае. Незначительная часть российских подданных оказалась в скандинавских странах (Швеции и Норвегии). Наконец, многие деятели культуры были в 1922 г. насильственно высланы новой властью в Германию. В результате всех этих процессов, сопоставимых с библейским «переселением народов», в 1918–1922 гг. сложились первоначальные границы того, что впоследствии получило название Зарубежной России.

Однако границы эти были весьма подвижными в пространстве и во времени, поскольку зависели как от внешних обстоятельств, так и от волеизъявления изгнанников, стремившихся в силу причин внешнего (социально-экономического) и внутреннего (сугубо индивидуального) характера попасть в тот или иной центр рассеяния.

Так, экономические изменения в Германии после 1923 г. привели к распаду русского Берлина и утрате им статуса эмигрантской столицы. Значительная часть эмигрантов перебралась в Париж, где к 1925 г. сформировалась новая столица эмиграции, остававшаяся таковой до начала Второй мировой войны. Кроме русских берлинцев, в Париж стремились эмигранты из других центров рассеяния: из Чехословакии, Болгарии, Югославии, Польши, балтийских государств, из Китая. К середине 1930-х гг. многие русские пражане, варшавяне, белградцы, харбинцы стали русскими парижанами.

Вторая волна эмиграции бывших российских подданных из Германии началась после прихода к власти Гитлера в 1933 г., а с началом Второй мировой войны начался массовый выезд эмигрантов из Европы за океан. В эмигрантских

дневниках и письмах тех лет и в воспоминаниях о них нашло отражение типичное для эпохи ощущение «дежа вю»: История словно повернула вспять, эмигранты вновь превратились в беженцев, во второй (а некоторые — в третий) раз за двадцать лет утратив дом и — пусть хрупкое и весьма относительное — чувство защищенности и стабильности жизни. В свою очередь, японская оккупация Китая в начале 1930-х гг., а затем — и Вторая мировая война, в которой Япония участвовала как союзник Германии, вызвали исход русских из Харбина и Шанхая в Америку и Австралию. Окончание войны привело и к новому массовому оттоку эмигрантов из европейских стран, занятых Красной армией (Польши, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Германии), все глубже на запад Европы или в США. Именно в те годы многие эмигранты оказались насильственно депортированными в СССР.

Кроме того, и в 1920–1930-е, и — особенно — в 1940-е гг. в определенной части эмиграции существовали выраженные просоветские настроения, что стало причиной возвращения многих эмигрантов из Европы и Азии в СССР — в страну, имевшую мало общего с сохранившейся в памяти Россией и, по сути дела, абсолютно чуждую тем, кто в нее возвращался. Значительная часть депортированных и добровольных репатриантов погибла в лагерях ГУЛАГа, и лишь немногим удалось вернуться в свободный мир в статусе реэмигрантов.

Вспоминая друзей своей харбинской молодости, Ларисса Андерсен писала в одном из послевоенных стихотворений: «Так друзей разметало по белому свету, / Что бумаги не хватит заполнить анкету! / На Харбин? На Шанхай? На Мадрас? На Джибути? / На Сайгон? На Таити? Москву не забудьте! / Тель-Авив, Парагвай, Сан-Франциско, Канаду, / Сидней, Рио, Гонконг... И Варшаву мне надо. / А еще... Соловки, Колыму, Магадан...».

Иными словами, при любом повороте судьбы эмигранты оказывались заброшенными на чужую почву, в новые бытийные условия и, чтобы выжить, должны были к ним приспособиться. Новое физическое и культурное пространство требовало осмысления и обживания. И то, и другое происходило небыстро, непросто и зависело, как минимум, от факторов двух типов: склада личности, индивидуального в каждом отдельном случае, и типа культуры, в которую оказывался погруженным эмигрант в новой стране обитания. А также — далеко не в последнюю очередь — от степени близости и от исторически сложившихся отношений этой культуры с русской, отталкиваясь от которой, эмигранты осваивали культуры стран Старого и Нового Света. Для т. наз. рядовых эмигрантов освоение происходило преимущественно, а иногда и исключительно на уровне «быта и бытия»; для эмигрантов-литераторов едва ли не первостепенное значение имел еще один уровень — художественного образа.

С одной стороны, в совокупном сознании сообщества и в индивидуальном сознании каждого эмигранта существовал определенный набор образов, связанных с культурой (народом, языком, укладом жизни, искусством и т. д.) той или иной страны. Очевидно, что набор был разным у разных людей — в зависимости от их социальной и профессиональной принадлежности, от уровня образования, от возраста и предшествующего эмиграции жизненного опыта. Нина Берберова, например, так пишет о значимости предшествующего опыта для творческого формирования эмигрантских поэтов своего поколения и осознания ими себя как *русских эмигрантских поэтов*: «Один фактор был чрезвычайно важен <...>: момент отъезда из России. Те, кто уехал шестнадцати лет, как Поплавский, — почти ничего не вывезли с собой. Те, что уехали двадцати, — увезли достаточно, т. е. успели прочесть, узнать, а иногда и продумать кое-что

русское — Белого и Ключевского, Хлебникова и Шкловского, Мандельштама и Троицкого. Те, кто уехал в семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет, по-разному были нагружены русским, все зависело от обстановки, в которой они росли, от жизни, которой жили в последние русские годы: учились в средней школе до последнего дня? воевали в Добровольческой армии? валялись ранеными на этапных пунктах? скрывались от красных? бежали от белых? успели напечатать одно стихотворение в студенческом сборнике в Киеве, Одессе, Ростове?

Кнут не учился и не воевал, а торговал у отца в бакалейной лавке в Кишиневе. Ладинский был белым офицером. Поплавский жил с семьей. Набоков выехал с родителями, издав в Петербурге (в 1917 году) сборник юношеских стихов. Смоленский был эвакуирован с юга России. Злобин, прожив с Мережковскими всю революцию, приехал с ними в Париж, и я сама — явилась на свет “женой Ходасевича”, напечатав одно стихотворение в петербургском сборнике “Ушкуйники”, в феврале 1922 года. Я не знала, был ли кто-нибудь из них, кроме меня, когда-либо в Москве, возможно, что был. Но в Петербурге ни Кнут, ни Смоленский не были. Бывал ли там Ладинский, я не знаю. Читал ли Кнут когда-либо Ломоносова или Вяч. Иванова, Веселовского или формалистов? Не думаю. Смоленский наверное их не читал, смутно знал эти имена. Ладинский принялся за книги (и французский язык) уже в тридцатых годах, когда перешел от работы маляра к работе рассыльного. Кнут в это время читал, что мог, большей частью случайные книги, Смоленский почти ничего не читал, считая, что это только может повредить его своеобразию <...> Поплавский, вероятно, читал больше других — дадаистов, Верлена, сюрреалистов, Аполлинера, Жида. Злобин, в атмосфере дома Мережковских, знал то, что так или иначе имело отношение к этой

атмосфере»¹. Багаж, как явствует из текста, был весьма различным, но в каждом отдельном случае именно он становился своего рода «культурным капиталом» личности, тем фоном, на котором теперь происходило реальное знакомство с новой культурой и ее постижение, т. е. — динамическое освоение.

С другой стороны, подобный образный набор существовал и по отношению к отечественной культуре. И чем дальше отходила эмиграция от России в физическом времени и пространстве, тем более «образы Отечества» становились его символами, обретая присущую символу статику на уровне глубинного смысла и внешнего облика. Не менее очевидно, что по мере укоренения эмиграции на новой почве два ряда образов соплагались и накладывались друг на друга, в одних случаях притягиваясь друг к другу, в иных — взаимоотталкиваясь, но неизменно приводя к образованию качественно нового образа (или образной парадигмы) — России сквозь призму эмиграции.

Образ новой страны был, прежде всего, образом ее столицы, формировавшимся веками и воспринимавшимся на уровне символа, живого и многообразного, одновременно отталкивающего пришельцев и притягивающего их, втягивающего в свою орбиту. «Собственно говоря, моя Франция — это один Париж, но зато один Париж — это вся Франция!», — утверждал объехавший полмира Александр Вертинский². «Париж — не город, Париж — образ, знак, символ Франции, ее сегодня и ее вчера, образ ее истории, ее географии и ее скрытой сути. Этот город насыщен смыслом больше, чем Лондон, Мадрид, Стокгольм и Москва,

¹ *Берберова Н. Н.* Курсив мой: Автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 317–318.

² *Вертинский А. Н.* Дорогой длиною... М.: Издательство «Правда», 1990. С. 185.

почти так же, как Петербург, Нью-Йорк и Рим. Он сквозит этими значениями, он многосмыслен, он многозначен, он говорит о будущем, о прошлом, он перегружен оборотами настоящего, тяжелой, богатой, густой аурой сегодняшнего дня. В нем нельзя жить, как будто его нет, законопатиться от него, запереться, — он все равно войдет в дом, в комнату, в нас самих <...> Он есть, он постоянен и вечен, он вокруг нас, живущих в нем, и он в нас <...> Он — круг ассоциаций, в которых человек существует, будучи сам — кругом ассоциаций. Раз попав в него и выйдя — мы уже не те, что были: он поглотил нас, мы поглотили его, вопрос был не в том, хотели мы этого или не хотели: мы съели друг друга <...> мы глотаем его, мы срастаемся с ним, мы празднуем его праздник, тянем его будни и выходим в него на бой с жизнью», — писала Берберова о Париже³. «Море и башни. Ветер и цветы. Это — Рига. Город был построен на слиянии речонки Ризинг и Двины семьсот с лишним лет тому назад. Его строили дальше: орден, епископы, купеческие гильдии, шведские короли, русские цари. Ливы, немцы, шведы, русские и латыши. Рига — символ Балтики», — так представляет читателю латышскую столицу Ирина Сабурова в «Кораблях Старого Города», единственном русском романе о межвоенной Риге⁴.

Вполне естественно, что город — как новая среда обитания изгнанников — сделался той призмой, сквозь которую происходило осмысление нового культурного пространства и себя в нем, без чего вряд ли удалось бы найти в этом пространстве свое место. Столь же естественно, что город стал одним из главных персонажей эмигрантской поэзии и в значительной мере определил ее тематический ряд.

³ Берберова Н. Н. Указ. соч. С. 262, 263.

⁴ Сабурова И. Корабли Старого Города. Рига: Латвийское общество русской культуры; «Даугава», 2005. С. 17.

Город может быть представлен в культурных текстах, как минимум, в двух вариантах: статическом и динамическом. В первом случае он создается посредством т.наз. культурных клише. Прежде всего, к ним относятся традиционно ассоциируемые с этим городом «картинки» — виды, имеющие статус визитной карточки города, его символа, метонимически заменяющего (вбирающего в себя) множественные представления о нем. В этой роли могут выступать петербургские шпиль Адмиралтейства, Петропавловская крепость, Медный всадник, Эрмитаж; парижские Эйфелева башня, Нотр Дам и Большие бульвары; лондонские Тауэр и Биг Бен; берлинская Унтер ден Линден; римский Колизей; венецианские каналы и Дворец дождей; варшавские Лазенки; узкие улочки, ратуши и готические соборы Праги, Риги, Таллина; Статуя Свободы и небоскребы Нью-Йорка... Явления природы, типичные для того или иного города, образуют еще один пласт культурных клише. Таковы петербургские белые ночи, петербургские и лондонские туманы⁵, цветущие каштаны и жемчужная дымка весеннего Парижа, промозглая осенне-зимняя сырость Петербурга и Берлина. Другие пласты — наиболее известные топонимы (названия улиц, переулков, площадей, неразрывно связанных с историей города), исторические события и имена деятелей культуры, литературные произведения и персонажи.

Динамический вариант более сложен, поскольку сама динамика может быть внешней и внутренней. Внешняя связана с тем типом движения, который ассоциируется с городом в индивидуальном восприятии: город может «гордо

⁵ О петербургском тумане Георгий Иванов писал в «Закате Петербурга»: «Но это не лондонский туман. Туман Петербурга совсем особенный, ни на какой другой не похожий. Он — душа этой блистательной столицы» // *Иванов Г. В. Собрание сочинений: В 3 т. М.: «Согласие», 1994. Т. 3. С. 457.*

выступать», «торжественно нести себя», «парить» в воздухе или «плыть» по воде. Внутренняя отображает некую психологическую «картинку», сложившуюся в сознании автора в результате взаимоналожения собственно облика города, представлений о нем и его ощущения. Так, Петербург в эмигрантской поэзии, как правило, «державный», «имперский», «строгий» и «стройный»; Берлин преимущественно «тесный», «тяжеловесный» и «каменный»; Париж неизменно «юный», «веселящийся» и отмеченный «особой тайной»; Прага «золотая», Рим «вечный».

Не подлежит сомнению, что все эти образы сосуществовали в эмигрантском поэтическом сознании, и в результате их непрерывного взаимодействия складывался качественно новый единый образ освоенного «чужого», пропущенного через «свое» («своего чужого» или «чужого как своего»).

«СВОЕ»

Единым для всех «своим» был Петербург как символ канувшей в небытие Империи и связанных с нею былых блеска, славы и величия — и как метафора необратимой утраты⁶. Поэтому обращение к петербургской теме столь

⁶ Столица для эмигрантов навсегда осталась Петербургом, несмотря на произошедшее в начале Первой мировой войны переименование; об отношении к новому названию выразительно вспоминал камергер императорского двора, юрист, помощник начальника столыпинского Переселенческого управления, поэт И. И. Тхоржевский: «Петроград... Что-то захолустное. И подражать плохим обруселым немцам, наскоро менявшим фамилии! <...> Петербург был недоволен. Его переименовали не спросясь: точно разжаловали. Позднее, когда война обернулась гибелью, — переименованию Петербурга стали придавать какое-то мистическое значение: сглазили, мол, столицу! <...> После “Ленинграда” такое отношение стало уже всеобщим. Но тогда, в сиянии первых дней военного

характерно для поэтов эмиграции независимо от того, родились они в столице, учились или служили там — или никогда в ней не были⁷. Петербург олицетворял потерянный Рай, утраченную мощь державы⁸, и миф о нем был, пожалуй, одним из самых значимых в эмиграции, что привело к возникновению своего рода «петербургомании», выраженного «петербургского синдрома», о котором писал в своих воспоминаниях Юрий Терапиано⁹. Стихи

подъема, слово “Петроград” промелькнуло хотя и неприятной, недоброй, но не зловещей тенью» // *Тхоржевский И. И.* Последний Петербург. Воспоминания камергера. Составление и примечания С. С. Тхоржевского. СПб.: «Алетейя», 1999. С. 179.

⁷ Весьма убедительным подтверждением данного тезиса может служить объемистый том «Петербург в поэзии русской эмиграции» (СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», Издательство ДНК, 2006), в состав которого вошли 475 эмигрантских стихотворений и/или отрывков из произведений более крупных жанров, посвященных Петербургу. При этом составители тома Р. Тименчик и В. Хазан отмечают в заключении своей предваряющей поэтический корпус книги вступительной статьи, что «петербургские стихи таких известных в эмиграции поэтов, как Г. Иванов, В. Набоков, В. Ходасевич» в антологию не вошли, так как уже были изданы в известной серии «Библиотека поэта». Кроме того, не были включены в состав тома и тексты, художественный уровень которых составители «посчитали несоответствующим определенному стихотворческому минимуму» (С. 57).

⁸ Ср. цитируемое Тименчиком и Хазаном утверждение журналиста и драматурга И. Колюшко (псевд. Александр Рославлев): «Не Киев и не Москва, а Петербург дает исчерпывающее понятие о русской мощи» (С. 7); см. также «Закат Петербурга» Г. Иванова: «Все большие дороги русской жизни перекрещивались в одном “невралгическом центре” — Петербурге. Казалось, что все, чем отличается полнота живой жизни от растительного существования, стало привилегией петербуржцев, принадлежало только тем избранным, кто жил в прекрасной столице и дышал ее туманным воздухом» // *Иванов Г. В.* Собрание сочинений. Т. 3. С. 457.

⁹ *Терапиано Ю. К.* Встречи: 1926–1971. М.: Intrada, 2002. С. 185.

о Петербурге прорастали на очень хорошо подготовленной почве: художественные, мемуарные и дневниковые тексты, в той или иной мере имеющие отношение к столице, составляли едва ли не самый существенный пласт эмигрантской литературной продукции. Среди наиболее пронзительных и поэтических по духу мемуарных сочинений, посвященных Северной столице, — «Закат над Петербургом» совсем не склонного к «сантиментам» Георгия Иванова. «Незабываемый? Да, именно забываемый. Восхитительный, чудеснейший город мира. Для петербуржцев, вздыхающих по нему, как по потерянному раю? — Конечно. Но не только для одних петербуржцев. Значит, и для всех русских? Не знаю, для всех ли, во всяком случае, для очень многих и — как это ни удивительно — для многих иностранцев. Очарованных Петербургом иностранцев не перечесать: “Город-мечта, волшебным образом возникший из финских болот, как мираж в пустыне”... “Версаль на фантастическом фоне белых ночей”... “Соединение Венеции и Лондона”»¹⁰.

Петербург, живший в культурной памяти эмиграции, вполне сопоставим с Атлантидой, безвозвратно погибшей и навсегда оставшейся в культурной памяти человечества; он, словно Атлантида, всплывал из прошлого, незримо присутствуя в настоящем и определяя его восприятие. Владимир Варшавский вспоминал о той роли, которую играли «петербургские» поэты на русском Монпарнасе: «Мы с жадностью внимали каждому слову “петербургских” поэтов: они застали еще то время, когда возвращались на землю последние из «отважных аргонатов», слышали их рассказы. Мы верили — они сами продолжают баснословную прогулку. Когда Георгий Иванов в котелке и в английском пальто входил в “Селект”, с ним входила, казалось, вся слава

¹⁰ Иванов Г. В. Собрание сочинений. Т. 3. С. 457.

блоковского Петербурга: он вынес ее за границу, как когда-то Эней вынес на плечах из горящей Трои своего отца»¹¹.

Два мотива переплетаются в эмигрантских стихах о Петербурге: мотив Империи и мотив Культуры, что обусловило повышенную частотность имперских коннотаций и культурных аллюзий, нередко сосуществующих в пространстве одного стихотворения. Василий Сумбатов, например, утверждает: «Лишь при Империи Ты мог родиться / И вместе с ней Ты встретил свой закат», в последующих четырех строках представляя культурную квинтэссенцию двухсотлетней истории города: «Два века роста, пышного цветенья, — / Архитектуры праздник над Невой, / Расцвет искусств, науки, просвещения, / Поэзии и чести боевой» («Град Петра»). Николай Агнивцев называет Петербург «блистательным Санкт-Петербургом», «гранитным барином», воспетым Пушкиным и Растрелли («Станный город», «Гранитный барин»). В «Петербурге» Юрия Галя последовательно возникают «гранит Невы, холодный шпиль Трезини», «решетка Фельтена», Сенат; в «Картинках прежнего Петрограда» Вадима Гарднера — Инженерный замок, памятник Петру, Летний сад, Крылов, Марсово поле, Зимний дворец, Александрийская колонна, «конная статуя Николая», памятник Екатерине в сквере перед Александринским театром. У Георгия Эристового — набережная Фонтанки и скульптуры Клодта («Фонтанка. Мост и бронзовые крупы»), Михайловский театр с французской труппой, и вновь Марсово поле и Петр. Наконец, в знаменитом стихотворении Раисы Блох «залетная (в другом варианте — случайная) молва» приносит «милые, ненужные слова: / Летний Сад, Фонтанка и Нева». В посвященных Петербургу стихотворениях Юрия Трубецкого словно

¹¹ *Варшавский В.* Монпарнасские разговоры // Русская мысль. Париж. 1977. 21 апреля. С. 13.

оживают в лицах увековеченная Пушкиным петербургская повесть о трех картах («Пиковая дама») и поэзия первых двух десятилетий двадцатого века («Ахматова, Блок, Гумилев, Мандельштам») ¹², объединяя два века русской литературы — Золотой и Серебряный.

Вместе с тем, при всем своем блеске и величии, Петербург — «самый призрачный и странный из всех российских городов»; эти строки Агнивцева («Странный город») воспринимаются как парафраз известного утверждения Достоевского о Петербурге как о «самом умышленном городе на свете». И еще он — «навсегда невозвратный» (Владимир Дитерихс фон Дитрихштейн), «опочивший» (Георгий Эристов), бывший и прошедший (Раиса Блох), незабываемый и непреходящий (Ирина Одоевцева, Георгий Иванов). Иными словами, «на земле была одна столица» (Георгий Адамович).

«ЧУЖОЕ»

Зато «чужих городов» было много, были они разными и воспринимались по-разному. Пальму первенства, несомненно, следует отдать Парижу — по степени свободы, «умственной роскоши и новизны» ¹³, насыщенности смыслами и богатству культуры. По мнению В. Яновского, «весь дух был другой, и происходила на наших глазах чудесная метаморфоза. Латинская прививка к родному максималистскому полудичку обернулась творческой удачей»; «Должно отметить, что та степень свободы, которая досталась нам

¹² Этот ряд имен почти неизменно повторяется затем в эмигрантской мемуаристике, ставшей классикой жанра; см., напр., «Курсив» Берберовой, «На берегах Невы» И. Одоевцевой, «Некрополь» В. Ходасевича и др.

¹³ Берберова Н. Н. Указ. соч. С. 257.

в Париже тех лет, редко выпадала на долю какого-нибудь другого поколения русских людей: здесь объяснение многих удач того периода эмиграции <...> Этот особый воздух зарубежного, или классического, Парижа я определяю словом “свобода”! Насквозь пронизывает чувство: все можно подумать, сказать, и в духовном, и в бытовом плане, все по-иному взвесить, уразуметь, перестроить... Причем это ничего общего не имеет с надрывами Достоевского или Ницше, с пожарами над Рейном или Невою, без всяких даже теорий познаний или хождений в народ, соборности и мифологии. Свобода в каком-то будничном, насущном, уютном, поэтическом сплошном потоке»¹⁴. И Вертинский тоже был убежден, что «нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно, как именно в Париже»¹⁵. А Юрий Терапиано полагал, что в Париж 1930-х гг. «волею судьбы, переместился центр — не русской жизни и не русской литературы, конечно, но некоторый очень важный центр — “человека своего столетия”»¹⁶.

Отзывы о Берлине — как русском, так и немецком — совершенно иные по тональности. Вертинский вспоминал о Германии 1923 г.: «Задавленная Версальским договором, загнанная в щель, разбитая, она имела весьма скромный и, я бы сказал, даже томный вид. Немцы, что называется, ходили на цыпочках, стараясь не шуметь, как в доме, где только что умер кто-то. Они были грустны и любезны. И растерянны»¹⁷. В части «Курсива», посвященной Берлину начала 1920-х гг., самым частотным и своей

¹⁴ Яновский В. С. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк: Серебряный век, 1983. С. 54, 96, 111.

¹⁵ Вертинский А. Н. Указ. соч. С. 186.

¹⁶ Терапиано Ю. Человек 30-х годов // Числа. Париж. 1933. Кн. 7/8. С. 210.

¹⁷ Вертинский А. Н. Указ. соч. С. 172.

частотностью словно насильственно «вбивающим» создаваемый образ в сознание читателя, является слово «чахлый», ср.: «Чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена <...> берлинские кафе, где играл струнный оркестр и качались пары, где у входа колебались, окруженные мошкаррой, цветные фонарики, под зеленью берлинских улиц. Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотцштрассе. Все мы — бессонные русские — иногда до утра бродили по этим улицам, где днем чинно ходят в школу чахлые немецкие дети — те, что родились в эпоху газовых атак на западном фронте и которых перебьют потом под Сталинградом»¹⁸. Ирина Одоевцева, вспоминая свой первый бал в русском Берлине (который к тому же оказался первым настоящим балом в ее жизни), пишет об охватившем ее разочаровании: «Нет, опять “все не то и не так”. Наши балы в Петербурге были совсем другие — в них было что-то великодержавное, какое-то трагическое величие и великолепиие. <...> А здесь все мелко и плоско, на всем какой-то налет мелкобуржуазности, мелкотравчатости. Все очень прилично и чинно и должно, казалось бы, нравиться — и оркестр, и сияющие люстры, как в зеркале, отражающиеся в навощенном паркете, и кусты цветов в кадках, и буфет в глубине зала с батареей бутылок, тортами, пирожными и сэндвичами. А вот мне не нравится, совсем не нравится. Я, оглядевшись, даже начинаю испытывать мне малознакомую скуку»¹⁹. О Берлине (русском) 1933 г. писал Зинаиде Шаховской один из ее корреспондентов: «Часть места в кафе занимает выводок «берлинских поэтов», главная достопримечательность которых — собственные автомобили, на которых они порой возят поэтов парижских, но парижские все никак

¹⁸ Берберова Н. Н. Указ. соч. С. 202, 203.

¹⁹ Одоевцева И. На берегах Сены // Одоевцева И. Избранное. М.: «Согласие», 1998. С. 573.

не считают их парижанами и говорят: “вы” и “мы”. Да и то: у берлинцев свои, семейные, провинциальные замашки»²⁰.

Еще менее привлекательной выглядит в воспоминаниях и письмах эмигрантов русская Прага. Борис Лазаревский не без яда утверждал, что Чехия — это «страна, в которой Е. Н. Чириков — это Лев Толстой, а Вас. Немирович-Данченко — это Достоевский», и категорически заявлял, что он бы «не хотел быть там Мопассаном даже»²¹. Владислав Ходасевич писал А.И.Ходасевич 21 октября 1923 г., что «Прага — бездарное место с совершенно озверелой эмиграцией», а в письме своему приятелю А.Бахраху от 7 ноября того же года сравнивал пражских русских с пассажирами российского спального вагона 3-го класса, которые «(бухгалтеры, земские статистики, учителя, чиновники контрольной палаты, землемеры) — вылезли на станции “Прага” и закусывают в буфете. Колбаса, сыр, чай («свой кипяток») — и просаленная бумага. <...> Люди здесь честные, не спекулянты. Кроме хороших убеждений, обладают удивительно толстыми задами. <...> Пишут через ять, но без твердых знаков»²². Невысокого мнения о Праге был и «эмигрантский космополит» Анатолий Штейгер, находивший, что там «многое после Парижа странно — иной тон и стиль чуть все-таки московский»²³. И Берберова признавалась, что «не смогла

²⁰ Шаховская З. А. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 149.

²¹ Русская Прага, Русская Ницца, Русский Париж. Из дневника Бориса Лазаревского (33 письма Михаила Арцыбашева, Ивана Бунина, Александра Куприна, Ильи Сургучева и др.). Предисловие, публикация и комментарий Сергея Шумихина // Диаспора: Новые материалы. Вып. 1. Париж; СПб.: Athenaem; Феникс, 2001. С. 663.

²² Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М.: «Согласие», 1996–1997. Т. 4. С. 466–467, 472.

²³ Письмо к З. Шаховской от 5 июля 1935 г. // Шаховская З. А. Указ. соч. С. 177.

по-настоящему оценить Прагу: она показалась <...> и благороднее Берлина, и захолустнее его»²⁴. Типологически сходное впечатление от города сложилось у художника Евгения Климова, попавшего в Прагу из Риги в 1944 г.: «Чарующая, блестящая, нарядная и живая Прага не стала мне близкой. Все ее красоты остались вне моего восприятия. Я не сомкнулся с ними, не увлекся ими, остался холоден к их прелестям. Эту чуждость Праги я так и не преодолел. Внешний ее блеск казался мне неоригинальным и неподлинным. Все архитектурное обличье напоминало то одно, то другое. Самодовлеющих ценностей архитектуры в Праге я не замечал, сами чехи были мне совсем далеки. Различные культурные влияния и особенно различие религии наложили такой отпечаток, что славянская общность не помогала делу общения. Со стороны чехов чувствовалось всегда некое высокомерное отношение ко всему остальному славянскому миру, к России в том числе, при весьма поверхностном знании культурных ценностей России, а это создавало атмосферу, мало пригодную для взаимного понимания. Конечно, тут бывали исключения, но вообще мы жили в разных мирах»²⁵.

Вероятно, дело не только в том, что почти все из цитированных текстов принадлежат парижанам или людям, бывавшим в Париже достаточно часто, хотя этого обстоятельства нельзя не учитывать. Вместе с тем, у каждого из городов, ставших центрами русского рассеяния, были своя история, своя судьба, свое лицо и свой дух — и все это не могло не наложить отпечаток как на коренных жителей, так и на осевших в том или ином центре эмигрантов. Давно не оспаривается мнение, что отношения города и человека

²⁴ Берберова Н. Н. Указ. соч. С. 244.

²⁵ Климов Е. Прага. Из воспоминаний о 1944–45 гг. // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Вып. X. Рига: Даугава, 2005. С. 285.

складываются в режиме притяжения — отталкивания: тот, кто не может «притянуться», отталкивается навсегда и либо стремится сменить среду обитания, либо превращается в вариант «внутреннего эмигранта». Тот, кто остается, осознанно и/или неосознанно приспособляется к специфике города — вернее, город приспособливает его к себе. Можно без большого преувеличения утверждать, что не только человек выбирает город, но и город производит достаточно жесткий отбор «своих» жителей, а затем «ваяет» их, как скульптор, отсекая ненужное и подчеркивая суть. Результат этого процесса сказывается на личности той или иной персоны, на образе его/ее жизни, на восприятии действительности — и на творчестве, если речь идет о людях творческих профессий. Иными словами, город задает не только стиль жизни, но и ракурс видения мира, и стилистику создаваемых текстов. Поэтому столь отличны друг от друга запечатленные в эмигрантской поэзии Париж, Берлин, Рим, Прага, Варшава, Нью-Йорк — поэты же так по-разному писали об одном и том же городе те, кто принял его, и те, кто не смог принять; те, кто в нем постоянно жил, и те, кто приезжал «на гастролы». У разных «гастролеров» тексты об одном и том же городе тоже получались разные — и не только из-за различий творческой манеры. Для подтверждения сказанного достаточно сравнить берлинские стихи Ходасевича («Дома — как демоны, / Между домами — мрак; / Шеренги демонов, / И между них — сквозняк»; «И грубый день взойдет из-за домов / Над мачехой российских городов») и Эристова («Курфюрстендамм. Веселые витрины, / Асфальта зеркало, скользят машины... / Тебя ли, милый город, мне казнить?!»). Или стихотворения Бунина, Одоевцевой и Юрия Иваска (все трое — «гастролеры») о Венеции. Или стихи парижанина Михаила Форштетера, жившей в Чехии и рвавшейся в Париж Марины Цветаевой и поэтов пражского «Скита» о чешской столице. Или варшавские стихи

Константина Бальмонта, написанные «на случай» в связи с приездом поэта в Варшаву, со стихами о польской столице жившего там постоянно бывшего петербуржца Льва Гомолицкого или «Гибелью Варшавы» родившейся в Одессе и учившейся в Петербурге парижанки Софии Прегель. Или стихи о Париже, принадлежащие перу поэтов эмигрантской провинции, со стихами русских парижан. Или просто прочесть и прочувствовать «Шанхай» Александра Вертинского, вынужденного обстоятельствами жить в городе, ставшем его последним этапом перед возвращением в Россию. «В Китае я застрял надолго... Близость советской границы рождала в сердце смутные и неясные надежды. Когда началась Вторая мировая война и чувство любви к родине особенно обострилось в сердцах всех честных русских людей, надежды эти еще возросли. Победы советских войск вызвали в душе моей гордость, смешивавшуюся со все усиливавшейся тоской по отечеству», — писал он в посвященной Китаю главе своих воспоминаний, работу над которыми начал в 1942 г., когда ждал ответа советского правительства на свою просьбу о разрешении вернуться в СССР, и завершил уже в Москве в 1957 г.²⁶

Несколько иное положение дел складывалось в балтийских государствах. Многие из живших там в 1920–1930-х гг. не были эмигрантами в строгом смысле слова: они либо оптировали гражданство как родившиеся на этих территориях, либо оказались эмигрантами «автоматически», поскольку жили в Прибалтике, когда начались российские исторические катаклизмы, т. е. русские представляли собой не только эмиграцию, но и русские меньшинства (отчасти это относится и к русским в Финляндии и Польше). Кроме того, там «не было того отрыва от родной почвы, который

²⁶ Вертинский А. Н. Дорогой длиною... М.: Издательство «Правда», 1990. С. 268.

существовал на Балканах и еще больше — в странах Западной Европы. Имелось там не только активно защищавшее свою русскость меньшинство, официально представленное в парламенте, но и русский пейзаж, русский фольклор, русский коренной язык и не пересаженное на чужую почву православие»²⁷.

Соответственно, столицы новых государств, бывших совсем недавно частью обширной Российской империи, не были для оказавшихся там русских абсолютно чужими — напротив, они самим своим существованием словно напоминали о недавнем прошлом. Таллин, например, в эмигрантских текстах долго оставался Ревелем, сохраняя название времен Империи, и в описаниях его поэты и прозаики охотно использовали ставшие привычными клише: «старинный город», «узкие улочки», «готические шпили и здания» и т. п. Вместе с тем, нередко в эмигрантских текстах и описания Таллина как современного города, живущего полной жизнью и радующегося ей. Очень интересно сопоставление Таллина и Риги в статье бывшего петербуржца, жившего в эмиграции в Эстонии, затем в Латвии, Петра Пильского: «Рига — строгая пожилая дама. Ревель — молодой человек, носящий древнюю фамилию, зеленый росток седого генеалогического дерева. <...> Рига — домосед. Ревель — фланер. Рига — словесная скупость. Ревель — несмолкаемый разговор. Рига — степенность. Ревель — подвижность и спех. Рига — бюджет, расчет и умеренность. Ревель — безудержность и мотовство. Рига — парный лакированный выезд. Ревель — мчащийся автомобиль. В чертах у Риги есть суровость. Из глаз Ревеля струится веселый, сияющий блеск, блеск беззаботности и расточительности»²⁸.

²⁷ Шаховская Э. А. Указ. соч. С. 286.

²⁸ Пильский П. В Эстонии // Сегодня. Рига. 1922. № 234. С. 2.

В описании рижанки Сабуровой, напротив, Рига, несмотря на свой возраст и свою деловитость, вовсе не выглядит «чопорной старой дамой» — она окутана романтическим флером старины, но при этом вполне современна, наполнена красками и звуками живущего полной жизнью города и овеяна свежим морским ветром. «Узкие кривые улочки в ребрах неожиданных и беспорядочных домов сходятся на перекрестке с разливным асфальтом широких бульваров в липах. <...> С розового гранитного мостика через канал, у главного входа в Старый Город — на Известковую, разбегаются твердые дорожки лилового от осенней сырости песка. Слева — огибают Колоннадный киоск с пестрой суматохой журнальных обложек, изливаются вокруг фонтана, перед высокой белой Оперой, дальше, вплоть до грохочущего вокзала. Справа — стремительно летят вниз и сразу весело карабкаются спиралью на Бастионную Горку. <...> Ранняя готика семисотлетнего собора, кружевные завитушки Иоганнес-кирхе, забравшийся под самое небо золоченый петух Петровской колокольни. Она построена в три пролета из крепчайшего дуба, с тремя куполами зеленой меди, и с нее видно море. Это — символ Риги, неотъемлемый знак, страж и покровитель. <...> Витрины дорогих магазинов на Известковой залиты светом. Хрусталь, шелк, цветы, груды конфет. Прорезав Старый Город, вобрав в себя все улицы и закоулки, Известковая суживается, тускнеет и выбегает под звезды темного неба на Ратушной площади. Справа — колонны городской библиотеки. Слева, через глубину площади тянется фронтон Дома Черноголовых — каменная поэма. В этом доме затянuty гобеленами стены и в парадных залах портреты шведских королей и русских царей. В нишах стынут рыцари в латах, над дверьми гербы, окна в расписных стеклах. На площади перед домом на невысоком пьедестале рыцарь сторожит город. За несколько шагов до набережной извиваются

узенькие переулки. <...> Переулки вливаются в ларечные ряды с навесами — пестрый, грохочущий днем рынок. Набережная обрывается гранитными плитами над мутной водой. На чугунные тумбы причалов захлестнуты концы, покачиваются рыбацьи шхуны, буксиры, пароходы. На пристани визжат весело несущиеся трамваи с разноцветными огнями номеров. Вдоль набережной качаются, как прирученные звезды, огни фонарей. После запутанной скученности Старого Города — синий простор»²⁹.

В августе-сентябре 1929 г. Ригу и Таллин посетил парижанин Андрей Седых, парижский корреспондент рижской газеты «Сегодня». Он сравнивает две балтийские столицы на основании иного признака — черт «русскости», сохранившихся в каждой из них. «Я ехал по главным улицам Риги — десять лет тому назад бывшей русским губернским городом, а теперь ставшей столицей Латвии. <...> приятно было видеть вывески не только на латышском, но и на русском языке. Когда проезжали мимо монументального православного собора, зазвонили к вечерне. Старушка в платочке, торопившаяся куда-то, остановилась посреди площади и истово перекрестилась на купола... И этот спокойный вечерний звон, и эта богомольная старушка разом напомнили о России; Рига теперь латышский город, это чувствуется на каждом шагу, но русского здесь осталось бесконечно много, и, к чести латвийского правительства, надо сказать, что этот русский дух не особенно стараются искоренить. <...> Первое впечатление, когда подъезжаешь к Ревелю: Вышгород, старинная крепость на горе, острые шпицы башен и огромные, сияющие тусклой позолотой купола Александро-Невского собора. Собор этот в последнее время много заставил говорить о себе. Ровно год тому назад в Государственное Собрание внесен был законопроект

²⁹ Сабурова И. Указ. соч. С. 11, 16

о сносе ужасного “наследия русского режима” <...>. Мотив — собор мешает правильной планировке Вышгорода, где расположены все правительственные учреждения. Кроме того, он нарушает “эстонский стиль” города <...>. Целый день я ходил по городу, разыскивая эстонский стиль <...> Эстонского стиля я не обнаружил <...>. Потом я бродил по городу, отыскивая следы России. Их было мало, гораздо меньше, чем в Риге. Не видно русских вывесок, не слышно русской речи. Что-то от немецкого городка, чистого, делового, работающего»³⁰.

Впрочем, ни территориальная близость балтийских стран к России, ни отмеченная многими «русскость» Риги, ни веселая беззаботность Таллина, ни красоты балтийских столиц не спасали русских поэтов от ностальгических настроений и типичной эмигрантской тоски, фоном для которых становились средневековые панорамы городов с их стремящимися ввысь готическими шпилями, морские панорамы и «плоские» песчаные пейзажи балтийского побережья.

Особое положение в диаспоре занимал Харбин. «Харбин был международным скороспелым городом, где сравнительно недавнее 20-летнее сосуществование и общие труды народов Китая и России создали оригинальный и сильный гибрид. <...> Я думаю, что Китай, принявший в пору 1920 года большую порцию, тысяч до 200, “беженцев из России”, предоставил им такие условия, о которых они могли разве что мечтать... Работали все инженеры, врачи, доктора, профессора, журналисты. Все могли делать, что угодно <...> и в общем люди жили по-русски, попросту, соблюдая обычай: на Масляной ели блины, катались вместо троек на рикшах, а на Пасху ходили по улицам и умилялись, слыша звон колоколов: в церквах шла служба. В общем, жить было можно — и жить неплохо: дешево, сытно, спокойно,

³⁰ *Седых А.* Там, где была Россия. Париж, 1930. С. 21, 22, 23, 136, 138.

не разбирая, кто жил в “полосе отчуждения КВЖД”, кто в Никольск-Уссурийском или во Владивостоке, — жизнь сливалась в одно русло. Вся КВЖД, вся Уссурийская железная дорога, наконец, Владивосток — все было своеобразной страной — Дальним Востоком, — которая делала свою политику. Эта политика опиралась на старые административные и общественные учреждения, покуда уцелевшие в революционной переборке. Тут были и биржевые комитеты, и торговые палаты, и высшие учебные заведения, и средние школы, как китайские, так и русские, две железные дороги, банки <...> и все вообще, что оставалось от дореволюционной России и, как-то изворачиваясь, продолжало свое существование. Были и газеты, а значит, было, так сказать, общественное мнение. А главное — все эти российские граждане жили под властью ДВР (Дальне-Восточной республики — *О. Д.*) и пользовались правом представительства и участия в народных собраниях»³¹. С цитированными воспоминаниями Всеволода Иванова перекликаются мемуарные заметки Лариссы Андерсен: «Харбин — особенный город. Это сочетание провинциального уюта с культурными возможностями я оценила позднее, когда из него уехала. <...> В Харбине действительно было все, что нужно для молодежи <...> и не только забавы, и не только для молодежи, а еще опера, оперетта, драма, концерты, лекции, библиотеки, прекрасный оркестр летом в парке Железнодорожного собрания. А какие встречались люди! Профессора, писатели, художники, архитекторы — все ведь были выброшены событиями на тот же берег, что и мы. Мы не отдавали себе отчета, как нам повезло в культурном отношении. И все это было доступно, и все мы говорили по-русски, и все мы были равны»³².

³¹ *Иванов Вс. Н.* Харбин. 20-е годы // Русский Харбин. М.: Издательство Московского университета «ЧеРо». С. 13, 14.

³² *Андерсен Л.* Указ. соч. С. 252, 253.

К сожалению, *город* Харбин практически не представлен в творчестве живших там молодых поэтов, образовавших «Чураевку», — самое известное из дальневосточных литературных объединений. По мнению «гордости» «Чураевки» Андерсен, городу не нашлось места в стихах «чураевцев» в силу их молодости и свойственного этому возрасту восприятия жизни: «Нельзя сказать, чтобы стихи нашего кружка отражали окружающее: ни особенности нашего города, ни эмигрантской ностальгии в них почти не было. У нас не могло быть много воспоминаний. Мы жили “теперь” и писали о своих переживаниях и чувствах, которые, как и мы сами, росли и требовали выхода»³³.

В Шанхае, куда многие харбинцы вынуждены были переехать в середине 1930-х гг., жизнь была иной, и сами поэты стали к тому времени иными — все это не могло не отразиться на отношении к городу и на том его облике, который оказался запечатленным в стихах.

«СВОЕ-ЧУЖОЕ-СВОЕ»

Месяцы эмиграции незаметно превращались в годы, годы складывались в десятилетия, и «чужое» постепенно становилось «своим». Однако и исконно «свое», российское, не желало быть окончательно вытесненным; прошлое властно вторгалось в настоящее — образ Петербурга выталкивался из глубин памяти и накладывался на образы «чужих городов». В самом упрощенном виде это проявлялось в текстах на уровне сопоставления: Петербург сопоставлялся с Парижем, Берлином, Лондоном, Варшавой, Венецией, Нью-Йорком. «В Варшаве было много военных. Их разнообразная блестящая форма — шпоры, палаши, эполеты — напоминала времена старого Петербурга,

³³ Там же. С. 253–254.

Петербурга блестящих гвардейских полков, балов и кутежей», — пишет Вертинский о Варшаве 1920-х гг.³⁴. «В этом городе, как я его увидела тогда и как видела потом, много лет подряд, — вспоминает Берберова о своей первой встрече с Нью-Йорком, — есть тоже что-то *умышленное* и та единственная смесь функционального и символического, которая есть и в нашей бывшей столице. Здесь тоже, может быть, кто-то стоял “дум великих полн” и *решал*, что именно на этом месте «будет город заложен» и кусок земли куплен у индейцев. Там — болота и туманы, здесь — черные скалы, на которых надо было строить жилища, там — выюги и метели, здесь — субтропическая температура иногда три месяца в году. Это не стало помехой. Водные пространства и особый свет, идущий от них, придают всему тот же характер призрачности и временности, или вневременности, или безвременности. Москва, Лондон, Рим, Париж стоят на месте. Ленинград и Нью-Йорк плывут, расставив все свои паруса, разрезая бушпритом пространство, и могут исчезнуть — если не в действительности, то в видении поэта, создающего миф, создающего мифическую традицию на основе прочувствованного» (курсив автора. — О. Д.)³⁵.

³⁴ Вертинский А. Н. Указ. соч. С. 168.

³⁵ Берберова Н. Н. Указ. соч. С. 555. Ср. с впечатлением Вертинского: «Я не пришел в восторг от Нью-Йорка. Огромный и величественный в центре, дальше он — двух-, трех- и четырехэтажный, обычный, простой, как все города, довольно грязный, в особенности в негритянских кварталах. Тут у каждого дома — кучи мусора, в которые вываливается все — от дохлых кошек до разбитых пианино. День и ночь по улицам Нью-Йорка катится лавина спешащих людей, летят бумажки, подгоняемые ветром, орут газетчики, продавцы, мчатся машины; люди спешат как на пожар, громко разговаривая и яростно жестикулируя» // Вертинский А. Н. Указ. соч. С. 245.

Сопоставление всегда оказывалось в пользу бывшей российской столицы. «И в этой сутолке всемирной, / Один на целый мир вокруг — / Брезгливо поднял бровь Амфирный / Гранитный барин Петербург!» — писал Агнивцев в Тифлисе в 1921 г. — строго говоря, еще не сделавшись эмигрантом, но уже стоя на пороге эмиграции. Впоследствии эти и другие его стихи о Петербурге были переизданы в Берлине в 1923 г. под названием «Блистательный Санкт-Петербург», и книга стала первой из немногих изданных в эмиграции сборников одного автора, целиком посвященных столице Империи. А сам автор в конце 1922 г. вернулся в Советскую Россию, чем вызвал негодование в эмигрантских кругах, что, однако, никак не сказалось на популярности книги. Вероятно, благодаря ее главному герою.

Владимиру Корвин-Пиотровскому в «Берлине тяжелом» снится «лед, сжавший черную Неву, / И в бездне — Зимняя Столица», с которой не может равняться Венеция. Живущая в том же Берлине Вера Лурье, «подавив одиночества душную скуку», мечтает «оглянуться назад» и увидеть «то, что больше преданий и памяти Рима», — «этот тихий, вечерний, родной Петроград». Парижанин Владимир Верещагин в цикле «Из парижских мотивов» сравнивает две столицы: «Какая разница! Париж и Петроград!»; «Париж совсем сошел с ума, / Вообразив на самом деле, / Что этот холод и метели — / Санкт-Петербургская зима». Татьяна Гревс тоскует в Париже о закате «на дальней Стрелке», о Фонтанке, Михайловском замке и Летнем саде и вспоминает «мощную Неву», глядя на тихо струящуюся Сену.

Более сложный вариант — взаимоналожение двух культурных текстов, прорастание, просвечивание одного сквозь другой. Один из самых ярких примеров подобного рода в мемуарной прозе — рассказ о «кризисе» в нью-йоркской жизни Берберовой, который автор относит к разряду галлюцинаций. «Кризис» случился в незнакомой Берберовой

части города, недалеко от пересечения Бродвея с Чемберс-стрит: «На углу желтое здание было подперто белым с облупленными колоннами, и я увидела себя стоящей посреди Садовой, где-то за Гороховой. И в ту минуту, когда я хотела уже в полном сознании подчиниться кошмару наяву и повернуть к Екатерининскому каналу, чтобы выйти на Казанскую, я поняла, что это вовсе была не Садовая, а угол улицы Рокетт и бульвара Пармантье»³⁶. Образы Петербурга и Парижа, в которых прошла предшествующая жизнь автора, выталкиваясь подсознательным, наложились «картинками» хорошо известных мест на свободное от ассоциаций, не связанное ни с какой определенной «картинкой» незнакомое место нового города.

В стихотворении Николай Туроверова «Как будто бы я в Петербурге...», посвященном памяти петербуржца А. Бенуа, взаимоналожение происходит на уровне имен — сопологаются имена Екатерины Медичи и Екатерины Второй, выступающие как символы эпохи и культуры. Для Туроверова, казака, не имевшего опыта петербургского жителя и знавшего столицу лишь на уровне эмигрантской мифологии, это, вероятно, единственно возможный механизм сопоставления. Москвич Кирилл Померанцев, покинувший Россию в тринадцатилетнем возрасте и с двадцати лет живший в Париже, в стихотворении «Возвращение» описывает путешествие, которое он совершил на мотоцикле по Италии. Реально совершенное автором в физическом пространстве путешествие в стихах приобретает характер воображаемой метафизической ретроспекции: стремительно сменяющие друг друга итальянские пейзажи оборачиваются «кружевной» ночью над Венецией, которая «захлебнулась неоновым блеском, / провалилась на тысячи лет, / и наутро проснулась на Невском». Воображаемая встреча

³⁶ Берберова Н. Н. Указ. соч. С. 568.

с Петербургом завершается возвращением поэта в реальное пространство Парижа. В поэзии петербуржцев и парижан Ирины Одоевцевой и Георгия Адамовича сквозь золото осеннего Люксембургского сада проступает «цыганская» Черная речка («Золотой Люксембургский сад...») и «взвивается над Елисейской Аркой / Адмиралтейства вечная игла» («Ты здесь, опять... Неверная, что надо...»).

Настойчиво звучащий в эмигрантской поэзии мотив вечности Петербурга «сквозь время» опровергает зловещее пророчество о том, что городу «быть пусту». Прошлое, настоящее и будущее, соприкасаясь, проникают друг в друга; то, что кажется временным, вполне способно обернуться вечным и оставаться таковым до тех пор, пока жива память о нем, сохранившая бывшее когда-то переживание и воплощенная в Слове. В стихотворении, открывающем последний поэтический сборник, составленный им самим, но вышедший в свет посмертно, Георгий Иванов утверждает: «Перемелется все, позабудется... / Но останется эта вот, рыжая, / У заборной калитки трава! / ...Если плещется где-то Нева, / Если к ней долетают слова — / Это вам говорю из Парижа я / То, что сам понимаю едва» («Что-то сбудется, что-то не сбудется...»).

Ольга Шербинина

МЕТАМОРФОЗЫ СТАРУХИ

Одно из самых загадочных произведений русской литературы — повесть Даниила Хармса «Старуха», написанная в 1939 году и опубликованная впервые лишь в 1988 году. Таинственное существо, неизвестно откуда появившееся в жизни автора-персонажа, повелевающее и нагружающее его проблемами, до сих пор побуждает исследователей искать разгадки, проводить интертекстуальные параллели, высказывать гипотезы...

Открыв наугад «Стихотворения в прозе» Ивана Сергеевича Тургенева, я увидела — «Старуха»! Эта миниатюра перекликается с его же стихотворением «Песочные часы». Жизнь... «Сыплется она ровно и гладко, как песок в тех часах, которые держит в костлявой руке фигура Смерти. <...> Мне сдается: стоит возле моей кровати та неподвижная фигура... В одной руке песочные часы, другую она занесла над моим сердцем» (Песочные часы. Декабрь 1878 года).

Поразительна эта фигуры с часами. А ведь именно так начинается и повесть Хармса «Старуха»: неизвестная старуха стоит во дворе с часами в руке — часами без стрелок. Следом из того же тургеневского цикла: «Но странное беспокойство понемногу овладело моими мыслями: мне начало казаться, что старушка не идет только за мною, но что она направляет меня, что она меня толкает то направо, то налево, и что я невольно повинуюсь ей».

У Хармса при встрече со Старухой та тоже командует: «Теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол. Я тотчас исполнил приказание».

Тургенев: «Я круто поворачиваю назад... Старуха опять передо мною... Она смотрит на меня большими, злыми, зловещими глазами... глазами хищной птицы... Я надвигаюсь к ее лицу, к ее глазам... Опять та же тусклая плева, тот же слепой и тупой облик... “Ах! — думаю я... — эта старуха — моя судьба. Та судьба, от которой не уйти человеку!”».

А ведь и у Хармса: «Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках». Хармс продолжает образ Судьбы и судьбоносных хтонических существ мировой классики: Парки, Эринии, шекспировские ведьмы, Пиковая дама... При этом у него немало любопытнейших нюансов и новаций. Вспомним самое начало повести «Старуха»:

«В дверь кто-то стучит.

— Кто там?

Мне никто не отвечает. Я открываю дверь и вижу перед собой старуху, которая утром стояла на дворе с часами. Я очень удивлен и ничего не могу сказать.

— Вот я и пришла, — говорит старуха и входит в мою комнату.

Я стою у двери и не знаю, что мне делать: выгнать старуху или, наоборот, предложить ей сесть? Но старуха сама идет к моему креслу возле окна и садится в него.

— Закрой дверь и запири ее на ключ, — говорит мне старуха.

Я закрываю и запираю дверь.

— Встань на колени, — говорит старуха.

И я становлюсь на колени.

<...>

— Послушайте, — говорю я, — какое право имеете вы распоряжаться в моей комнате, да еще командовать мной? Я вовсе не хочу стоять на коленях.

— И не надо, — говорит старуха. — Теперь ты должен лечь на живот и уткнуться лицом в пол. Я тотчас исполнил приказание».

Перед нами ведущие мотивы творчества Хармса: Судьба, держательница Времени, перед которой хочешь не хочешь человек падает на колени. Персонаж и он же автор повести в конце встанет на колени перед гусеницей — этому ключевому моменту уделим ниже особое внимание.

Судьба в трактовке Хармса непредсказуема и трагична, прихотливо проявляясь в случаях. Случаи — философское понятие и название цикла его коротких прозаических текстов. Героев преследует слепой рок с немотивированными, непонятными и остающимися не понятыми перипетиями событий. В рассказе «Случай с моей женой», например, та забредает все время «куда-то не туда» по воле своих «нашаливших» ног. В этой коротенькой анекдотичной прозе, как и в «Старухе», бесчинствует судьба. В «Старухе» внезапность и неотвратимость ее обозначена абсурдной внешне, нелепо интимной фразой «Вот я и пришла!». То же в «случае» с женой: «— Вот и я, — сказала моя жена, широко улыбаясь и вынимая из ноздрей застрявшие там щепочки». Жена тут воплощает разом и страдательное лицо, и саму судьбу, неотвратимо связанную с автором-героем.

Следующая по времени написания миниатюра цикла «Случаи» — также о человеке, против воли выполнявшем нелепейшие действия (съевшего кашу из помойного ведра и проч.). Роль властительницы судьбы опять играет женщина, на этот раз всего лишь соседка, но как бы то ни было — роковое, повелевающее существо женского рода (как и Парки и иные судьботворящие существа). Следом — короткая проза про Вострякова, коему принес телеграмму Некто; его смертельно боялся персонаж, но этого Некто не оказалось за дверью, когда Востряков ее все же открыл,

причем не осталось даже следов на снегу. Здесь та же тема стучащейся в дверь Судьбы или Смерти.

Тему Рока у Хармса можно обсуждать бесконечно. Но, кажется, впервые отмечаем парафраз приведенных выше тургеневских стихотворений, написанных, в свою очередь, под влиянием классики — «Пиковой дамы», «Преступления и наказания», Шекспира и еще многих мировых мифологических образов. Не случайны ведь литературные анекдоты Хармса, где писатели бесконечно переодеваются один в другого и «перепутываются»! Хармс озорно обнажил свой прием — этакий ладовый перебор, беглый пробег по клавишам мощного органа классической литературы.

Апеллирует к Достоевскому короткая притча Хармса 1933 года «Молодой человек, удививший сторожа». Тут герой без билета хочет пройти на небеса, жутковато пародируя тему «возвращенного билета» Ивана Карамазова в царство справедливости. Только ведь Иван готов вернуть билет, не желая заплатить за вход слезинкой ребеночка, а у Хармса молодой человек хочет, напротив, пролезть на небеса без билета. Безбилетник! Выпавший из классического контекста.

Сновидческая проза 1939 года «Я поднял пыль», где автор расправляется с ненавистными детьми, «похожими на поганые грибы», и мерзкими старухами, заканчивается видением предбанника-чистилища и вождеденной бани с белыми облаками пара. Очевиден тут намек на Чистилище и Рай. Много можно сказать о предбаннике-чистилище, помня Достоевского, его знаменитое и страшное — быть может, самое страшное измышление мировой литературы — речение Свидригайлова о том, что Вечность-то, может быть, — всего лишь закоптелая баня с пауками по углам.

А пыль! Немалое кроется и в пыли. Пыль — прах веков. Она вне времени. Она вопиет: «и это пройдет...». Пыль — свидетель Экклезиаста... Помня о ничтожном прахе земном,

Хармс пишет миниатюру «Как легко человеку запутаться в мелких предметах», где герой-автор философствует на темы о том, что «можно лечь на пол и рассматривать пыль». Надо сказать, то и дело у Хармса люди лежат на полу, являя своим видом, что судьба положила их на лопатки: роскошь реализованной метафоры! И явны тут не только память об Иове многотерпеливом, поверженном во прах, но и мотивы «суеты сует»¹.

Итак, персонажи Хармса то и дело оказываются опрокинутыми навзничь на полу (под диваном, за шкафом или где-то еще), лежат во прахе и «сосут пыль», как Катерпиллер в «Приключении Катерпиллера». Этот еще и ослеп. Библейский Иов многострадальный, только уж, конечно, перед нами пародийный Иов, Иов навыворот: этот жалкий некто с прозвищем Гусеница — слепорожденное насекомое, обреченное лизать пыль (катерпиллер по англ. — гусеница). Да у него еще и рыльце в пуху — вечно «роза в пыли, как в пуху». «Рожденный ползать летать не может», так что поделом ему, слепому и мерзкому червяку. «Я червь — я Бог»... Остается от державинской гордой строки лишь уничижительный компонент?

Но вот перед нами совершенно иная гусеница, иной, так сказать, червь, многозначительно явившийся в конце повести «Старуха». Концовка эта чрезвычайно важна и до конца не разгадана, существует множество интерпретаций; рискнем предложить свою. Вот полный недоговоренностей и намеков финал:

«Я иду в лесок. Вот кустики можжевельника.
За ними меня никто не увидит. Я направляюсь туда.

¹ Пыль в рамках творчества обэриутов можно рассматривать еще и в качестве символа пошлости, как ничтожный остаток, в который значительная мысль превращается в духе времени-безвременья...

По земле ползет большая зеленая гусеница. Я опускаюсь на колени и трогаю ее пальцем. Она сильно и жилисто складывается несколько раз в одну сторону.

Я оглядываюсь. Никто меня не видит. Легкий трепет бежит по моей спине. Я низко склоняю голову и негромко говорю:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь...

На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась».

(Конец мая и первая половина июня 1939 года)

Зачем тут гусеница? Причем она тут? Вся пронизанная философичностью повесть — подспудные размышления о смерти и бессмертии и о возможности чуда; главный персонаж и рукопись свою озаглавил «Чудотворец», правда, не успев написать в ней ничего, кроме первой строки: «Чудотворец был высокого роста». Гусеница в момент развязки... Этот трепет, пробегающий по спине, что он означает? Автора, не убивавшего старуху, но ее ненавидящего, как собственный грех, как смерть, впрочем, и раньше все время трясло от сознания вины (совсем как Раскольникова), мысли его мешались и т. д. Но почему в эту минуту, при виде гусеницы, трепет бежит по спине, а гусеница ведь тоже извивалась спиной?

Трепет тут — несомненно, библейский страх и трепет. Трепет от присутствия Высшей силы. «Жало божье в плоть человечью — жало оводиное: судорога вверх по спине, до темени, как укус скорпиона пронзающий» — пишет, например, и Мережковский в романе «Тутанхамон на Крите». Как червь почувствовал и бурно прореагировал на прикосновение человека, так человек, почувствовал прикосновение Бога, Судьбы, великого Непознанного и Непознаваемого. (И нарочитое снижение ситуации предыдущими

физиологическими подробностями расстройства желудка ничего не отменяет; в том-то и суть: не до пафоса, в самую печенку въелись метафизические проблемы). Одновременное трепетание гусеницы и трепет, охвативший героя-автора «Старухи», — это объединяющее их страстное волнение перед неизведанным — чудодейственным преобразованием, взлетом или... смертью. Интересно, что Введенский замечает в «Серой тетради»: «Чудо возможно в момент Смерти. Оно возможно потому, что Смерть есть остановка времени». Тут кстати и то, что часы старухи без стрелок — символ остановленного времени, символ иномирья — Вечности, где «времени больше не будет». «Если с часов стереть цифры, если забыть ложные названия (часов и минут. — *О. Ш.*), то уже может быть время захочет показать нам свое тихое туловище, себя во весь рост» — писал Введенский в прозе «Простые вещи». (В цитате сохранена пунктуация автора).

В старухе можно — но лишь отчасти! — видеть намек на «вошь бесполезную»: насекомое, ненавистную старуху-процентщицу из «Преступления и наказания», имея в виду обильные и настойчивые реминисценции Хармса из Достоевского. Однако персонаж Хармса далек от оценок Раскольникова, отвращение его к старухе не этического, как у Раскольникова, а метафизического плана. Это тоска и неодолимое отвращение к сущности, близкой скорее нечистой силе, а отнюдь не Христу. О том, будто в образе старухи зашифрован попираемый, а затем воскресший Христос, пишет в своей книге финский славист Юсси Хейнонен.

Но у Хармса ведь есть еще препротивная гусеница Катерпиллер в одноименной миниатюре из цикла «Случаи». Там гусеница «все время сосет пыль» — прах земной, подобно совратившему Адама и Еву змию по проклятию Господа: «Ты будешь ходить на чреве твоём и будешь есть прах во все дни жизни твоей» (Бытие 3: 14–15). Какой уж тут под

видом гусеницы Христос! Немыслимо. Думаю, отталкивание персонажа повести от старухи сродни неодолимому мистическому ужасу.

Итак, в финальной сцене «Старухи» персонаж Хармса опускается перед гусеницей на колени, и следом идет молитва и ключевая сцена покаяния, восходящая к покаянию коленопреклоненного Раскольниково. Исходя из убеждения, что старуха — мистическая сущность, сама Судьба, способная превращаться хоть в жабу, хоть в кого, можно представить, что это старуха превратилась в гусеницу. Конечно, как все у Хармса, образ старухи-гусеницы далеко не однозначен. Да еще и была ли старуха-то? В реальности происходящего персонаж Хармса сомневается так же, как, например, Макбет в реальности ведьм-предсказателей (трех сестер-Парок). Все колеблется между явью и сном, все зыбко, фантазмагорично, подобно «ошеломляющей сонной мгле, фантастическому мареву черта», как определяет атмосферу шедевров Гоголя Дмитрий Мережковский... Влияние Гоголя на творчество Хармса несомненно.

Неясным в этом мареве остается вопрос о том, действительно ли мертва старуха; автор пытается выяснить это на протяжении всего приключения. Хармс создал стоящее на рубеже жизни и смерти существо непобедимой силы, магический символ стихийного, иррационального женского начала, неустранимого, непобедимого, колдовского, зловещего, вещего... близкого той самой фигуре из стихотворений Тургенева, навеянных мировыми мифами. При том, что тему бессмертия — философское ядро повести — обсуждает автор-персонаж со своим соседом Сакердоном Михайловичем, все рассуждения друзей, вся теория меркнет перед явлением мертвой и одновременно как бы живой старухи, ползущей к автору после своей то ли реальной, то ли обманной смерти. Образ, приводящий на память жуткого Кошца Бессмертного (о связи Хармса с русским фольклором, увы, не писали), тем более что Даниил Иванович дружил

с нашим великим фольклористом Проппом. Хармсу близки и образы античной мифологии, Эриний, которые изображались в виде старух, преследующих героев злобным мщением. Пиковая дама Пушкина в своем «инобытии» тоже ведь не вполне мертва...

Надо сказать, сами обэриуты сердито отвергали свою связь с мифотворчеством; уверена, это происходило по той причине, что для них ирреальность жизни была не мифом, а самой реальной реальностью. Чудо они видели не в мифе, а в отсутствии мифа. Не случайно автор-персонаж задумал повесть о Чудотворце, который принципиально не хочет совершить ни одного чуда: сама жизнь чуднее. Ее не перечудить! Что же, что действие повести Хармса происходит в коммунальной квартире среди самых обыденных дел — тем сильнее воздействие магии, скрытой в обманчиво привычных вещах. Кроме того, миф для обэриутов слишком серьезен, он исключает ерничество — важнейшую составляющую их стилистики, ее суть, заключенную в неоднозначности суждений, оставляющих место для разных толкований и лишь подчеркивающих вопросы.

В том, что автор в финале трогает гусеницу пальцем, став перед ней на колени, я вижу и то, что Хармс принципиально не различает низкое и высокое, все уравнивает, подобно святым и юродивым (а еще детям! И не отсюда ли толика ревнивой неприязни к этим «узурпировавшим» главное достоинство поэтов — их «детский лепет» — существам?). Для Хармса все равнозначно в сложном, неразгаданном мире. Гусеница так гусеница, ничем не лучше и не хуже ничего другого, если бы не подозрения о том, кто она, быть может, на самом деле... Хармсу близко не раскольниковское «вошь бесполезная» или «паук в углу» (о пауках и прочих букашках-таракашках обэриуты пишут с уважением), сколько державинское «Я червь — я Бог».

Стихотворение Державина «Бог» по мироощущению, как это ни покажется странным, близко Хармсу, да и всем

обэриутам (особенно Введенскому с его Богом-Прологом).
Итак, Державин:

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я Бог!

Но червь обэриутов совсем не то, что червь Державина! Подкупает в обэриутах обостренное чувство сложности мироздания и сочувственное любопытство ко всему сущему, причем не только одушевленному, желание сродниться, стать им... В гениальном стихотворении Александра Введенского — мне жалко, «что я не ковер, не гортензия» — говорится, кстати, и о червяке: «Мне страшно, что я двигаюсь непохоже на червяка. Червяк прорывает в земле норы, заводя с землей разговоры. Земля, где твои дела»...

Образ гусеницы у обэриутов неоднозначен и являет, полагаю, в первую очередь царственное представительство «нижнего мира». Эринии ведь тоже живут в подземном мире. Старуха, если идентифицировать ее с гусеницей, — тоже своего рода Эриния, Червь, неразрывный с пагубой и мщением. О вине «без вины виноватого» автора, не повинного по факту (но не по мысли!) в смерти старухи, нужно писать отдельно: интереснейшая тема! Германн ведь, в сущности, тоже не убивал старуху (а Смердяков не убивал отца и так далее, и так далее... в глубь литературы и жизни). Интересно также было бы сравнить обэриутского червя и Эриний-мух, другое насекомое в качестве судьбоносного карающего существа в пьесе Сартра «Мухи».

Нет, не от благоговения мятущийся персонаж в конце повести «Старуха» встал перед гусеницей на колени,

а потому, думаю, что перед ним та же самая тварь и есть, что в начале приключения — старуха повелевающая. Старуха-Судьба...

Спрашивается, почему гусеница ползет по земле, а не по веткам куста? Только чтобы герой мог встать на колени, повторяя жест раскаяния Раскольниковца с его земным поклоном? Или близость к земле знаменует важный аспект? Гусеница — род червя, хтоническое существо, близкое к смерти и тлению, — мотив, настойчиво звучащий и в «Старухе» (неоднократно подчеркивается ужас перед запахом разлагающегося трупа), и в «Случаях». По всей логике вещей, имея в виду метафизику Хармса, образ гусеницы-червя связан с характерными для Хармса мотивами праха, пыли веков, тщеты и торжества беспощадного времени, того, что в живописи известно как «vanitas». Уместно привести стихотворение поэта о царственном черве:

Эти пальмы величественнее Версаля,
Ибо не человек воздвиг их,
Эти колонны величественней Кастилии,
Ибо не человек повалил их,
Но червь, у которого нет короны
И который всегда царь!
(Дерек Уолкотт, перевод Андрея Сергеева)

С другой стороны, нам показан все же не земляной червь, а гусеница, большая зеленая гусеница (именно этот род гусениц подвержен метаморфозу) — существо, которое может как ползать, так и летать, став бабочкой (известным в мировой культуре символом преобразования). Кстати, Введенский, помнится, где-то написал фразу «По небу летели княгини»... читай, хоть пиковые дамы, хоть преобразенные иные старухи... Так что есть возможность надеяться на будущее просветление героя, подобное предстоящему духовному воскресению Раскольниковца в финале «Преступления и наказания».

Существенно, что старуха, вернее, ее труп (если только это труп), исчезает в конце концов неизвестно куда. В бытовом плане все можно объяснить тем, что чемодан с трупом украли в вагоне электрички. Однако это откровенно ложная, издевательски-шутливая трактовка, отвлекающий маневр автора от сути происходящего. Старуха, это мистическое и всесильное создание, возможно, вовсе и не умерла... а лишь явилась гусеницей в духе волшебной сказки. Или античной нимфы, которая легко превращается то в дерево, то в ручей, то в арахну...

Имея в виду амбивалентность образа гусеницы и сквозной мотив исчезновения людей и предметов в творчестве Хармса (своего рода «творения наоборот», как отмечают исследователи), уместно, думается, говорить об открытом или иррациональном завершении мистического сюжета повести. Принципиальной незавершенности его в силу ирреальности и слепоты самой жизни и невозможности поставить окончательную точку... Как писал, терзаясь, Гоголь: «Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая скрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление — жизнь без опоры прочной? Не страшно ли великое она явление? Так — слепа» («Заметки на лоскутках»).

Автор «Старухи» жаждет чуда, преодолевающего слепоту жизни. Но разве не чудо своего рода все происшедшие немыслимые чудесные и чудовищные описанные события! Рождается своего рода анекдот: искать чуда, находясь в гуще невероятных происшествий! Все равно что искать снега посреди снежного поля в сердце бурана. При этом замечательно, что автор задумал рукопись о Чудотворце, не совершившем ни одного чуда. Это же настоящий бунт против искусственного, рукотворного чуда! Такого, которое может лишь профанировать подлинное метафизическое чудо, рожденное самой жизнью. Дешевое чудо фокусника — что оно по сравнению с невероятными случаями! Здесь мне хотелось бы исследовать переключку с отказом от чуда

в «Великом инквизиторе» самого Христа («яви нам чудо, и уверуем», — кричала толпа), но это особая большая тема.

В то же время в сложном, многоплановом сюжете о чудотворце, не творящем чудес, просматривается излюбленный Хармсом образ Иова многотерпеливого: «Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть платком, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда». Наконец, все венчается тем фактом, что невозможность творить чудеса происходит в наше время: «будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает». Экзистенциальные трактовки Хармса, безусловно, отражают не в последнюю очередь и реалии трагичного времени 1930-х годов.

Итак, написать о Чудотворце автору помешали непрерывно творившиеся вокруг него невероятные случаи. Так что рукопись его осталась едва начатой, озаглавленной пустыми белыми листами, по-своему весьма красноречивыми (и здесь возможны разные интересные трактовки). А бессмертие? Вопросать о бессмертии — и держать наготове молоток, чтобы тукнуть мертвую старуху, если та опять на него поползет и захочет его укусить... Теоретизировать о бессмертии и при этом бояться покойников-беспокойников — вот хармсовский сарказм! Вот соль трагичной и смешной повести... Жуткой в самом сарказме и оставляющей тем не менее надежду — и в силу неоднозначности пресловутой гусеницы, будущей бабочки, и благодаря намеку, что автор лишь временно заканчивает рукопись и продолжение может последовать.

Но, может быть, вообще ничего не было — ни часов без стрелок, ни старухи; были одни лишь мечтания о чуде

и бессмертии, морок, видение, подобное видению Германа, или явлению черта Ивану Карамазову, или фигуры Судьбы Тургеневу, или... список можно продолжать. Были лишь навязчивые идеи персонажа, увенчавшиеся встречей с гусеницей-символом... кто знает!

Да, таинственно, да, неразрешимо, да, ответ нам только снится в сне на темы русской литературы и мирового фольклора. В этом и соль! Не романтические соленые слезы, но русский черный юмор, начатый Пушкиным и Гоголем и превратившийся в модернистский юмор.

Возникает с неизбежностью вопрос о взаимоотношении чуда и случая; большой цикл прозы Хармса отнюдь не случайно ведь назван «Случаи». Автор повести «Старуха» жаждет чуда, но происходят с ним и тут, и в рассказах — случаи. Вместо чуда всего лишь абсурдные трагикомичные недоразумения; хочет взлететь в небо, а падает в лужу, хочет стать шаром, а рассыпается шариками, кои вездесущий и неистребимый сторож сметает веником в навоз. То и дело исчезает, сперва надуваясь до неба, потом лопаясь («Тягостней всего беспокойство духа. <...> Изволь управлять воздушным шаром, который мчит первым стремлением ветра» — из письма Гоголя), являет чудо наоборот. Такое было Время — наоборот. Времени больше нет, только не в Вечности, а... наоборот! Обещана Вечность, где времени больше не будет, но стоит на дворе — безвременье. Где часы без стрелок в руках судьбы-старухи показывают постоянно без четверти три — время убийц...².

2012, Петербург

Публикуется впервые

² Без четверти три Германн убил без выстрела Пиковую даму. Здесь видится мне такая символика: неполная тройка — ведущий элемент триады «тройка-семерка-туз», опосредованно связанный с образом Троицы...

Алексей Трякалов

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА ВРЕМЕНИ (О поэзии Дмитрия Ивашинцова)

Предлагая вниманию читателей заметки о творчестве Дмитрия Ивашинцова, менее всего хочу оказаться в роли прозаического комментатора к стихам. В моем случае это, если угодно, *восходящее чтение* от истоков до некоторой умиротворенности авторского *письма* — не остановки ради подведения итогов, а обретения места смыслов и проясненной позиции свидетельствующего утверждения. Если для романтической герменевтики свойственна иллюзия окончательного установления смысла, когда герменевтик способен понимать произведение даже лучше, чем автор, то в моем случае это, скорее, диалогическая герменевтика, когда *предпонимание* всегда по-своему переопределяет произведение в пределах развертывания творчества-письма.

Письмо своим становлением открывает картины времени, голоса обретений, надежд и разочарований, словно бы оставляя позади себя сохранные следы обретений. Именно движение по следам, внимание к первоименованиям дает возможность понять преходящее *другое* и искомое незыблемое *иное*, которое просвечивает в следах во времени и над временем. Речь не о том, чтобы сегодня приручить неприручаемое в своем времени, — речь о понимании обустройства поэтического письма. Объемное цитирование стихотворных строчек призвано еще раз привлечь

взгляд к смыслам и открытиям, которые предполагают внимательное — *пристальное* — чтение и в таком случае еще раз могут оказываться перед читателем.

1. ПИСЬМО ВО ВРЕМЕНИ

Есть только один путь подлинного понимания поэзии — внимание к тому, как в ней предстает чистая природа творчества. Тогда все другие взгляды на поэзию — как на образное представление и выражение времени, на философию чувства или голос идеологии, могут быть собраны в единой множественности ни к чему не сводимого феномена. И все-таки именно размещенность поэтических слов во времени более всего свидетельствует о событии поэтического творчества. Конечно же, событие никогда не завершается в происшествии — написании, публикации или чтении, событие вызывает далеко не очевидные и не всегда зримые прорывающиеся к признанию силы и слова.

Событие можно только предслышать и предвидеть, вслушиваясь и всматриваясь в жизнь и мир. И тогда поэтические строчки говорят не только о самих себя, но, оставаясь ни к чему не сводимым феноменом, открывают жизнь во времени мира. Мир, представая в своем становящемся несомненным смятении, демонстрирует поиски и обретения, но и это на фоне уязвленностью временем.

И поэтому строки схватывают все подлежащее рядом и стремятся проникнуть в *иное*, что ими схвачено и удержано. Даже если схватываемые здесь и сейчас настоящее и будущее не таковы, каковы они суть на самом деле, — существует же взгляд истины, к которому слово стремится, значимо стремление в его бесстрашной и надеющейся на успех полноте.

Но существует ли *неизбежное*, чего не может не быть? Речь не о времени, которое есть тем, что непрестанно

проходит (суть временности — быть преходящим), а о том, что неизбежно случается, способно и поразить, и утвердить, не сводясь ни к одному из жизненных жестов?

Существуют рождение, любовь, смерть. Повторить это — не большая заслуга ума, хотя необходимо внимание и бесстрашие для как можно более быстрого освобождения от своего ближайшего переживания, превозмогание юношеского любовного романтизма, рвущегося в строчки. Превозмогание и сохранение своего одновременно, иначе однокое и убогое существование: «ты оставил Диониса и Аполлон оставит тебя!».

Превозмочь себя и остаться собой — жест утверждения. И в этом смысле постоянное всматриванье и вслушиванье в себя, свидетельство словно бы со стороны, дневниковое ночное и дневное сопровождение, рефлексия над потоком, зеркальность взгляда.

В книге Дмитрия Ивашинцова «Неизбежное»¹ автор предупреждает: это попытка поэтического осмысления пространства жизни конкретного человека, автора стихотворных и прозаических текстов. И хотя речь идет о множественности встреч и смыслов, на самом деле это единый текст-свидетельство, где автор при всей его индивидуализации предстает словно бы гостем своего текста-письма. Письма и в смысле послания от одного человека другому или другим, можно сказать, некоему идеальному читателю-собеседнику, который этим посланием создается, и письма как процесса развертывания смысла в вопросах и приближениях.

Можно ли тут говорить об ответах? Можно их намечать, соглашаться или не соглашаться, но важно следить за ответом, который до всех ответов, и главная речь о нем. Это

¹ *Ивашинцов Дмитрий.* Неизбежное. С.-Петербург: «Русская культура», 2014.

словно бы сама готовность принять и ответить, вглядываясь и вслушиваясь в то, что представляет свидетельствующее письмо. Для такого письма словно бы вовсе нет времени, хотя предстает оно именно во времени. Более того, вещи, написанные по времени позже других, позволяют высветиться более ранним, создавая единство мелодии и смысла.

Книгу «Неизбежное» автор начинает стихотворением, где разные времена словно бы сходятся в одном проживании и переживании.

Как проникает в сердце Бог,
не знаем мы, но час настанет,
и вот он — огненный порог,
где биться сердце перестанет.

Там, на безжизненном краю,
где тишина плывет, сверкая,
молитву первую свою
к Тебе без страха обращаю.
И Ты не станешь упрекать

за страсть, за сердца злую муку...
И снимешь с верою разлуку
с души, как ложную печать.

Это написано в 2013 году, а в ранних произведениях словно бы вовсе нет молитвенных интонаций. Но их почти совсем нет и в том историческом времени, хотя, несомненно, всегда есть люди молитвы и веры. Есть поиски в словах и интонации, это, можно сказать, свойственная каждому времени естественность душевного одиночества и даже душевного нищенства.

зайди в подворотню...
ты знаешь, как холодно нишим,
когда на ветру деревья осенние гнутся,
сегодня в душе моей осень.

акафист звенящей сияющей бронзы.
как арфа я ласков
о если бы сбросить
все листья
и ветви нагие подставить
под ливни мелодий.
о если бы сбросить как шоры
условностей ворох.
как шорох безжизненных листьев
и с шапкой по миру.
сегодня в душе моей осень,
и голые ломкие ветви
как руки протянуты к людям.

В написанных почти полвека назад строчках свойственное времени «усталое тоскованье» — видение и видение пустоты.

— сплетаются
сквозь исповедь зеркал
отдельные мелодии вселенной
и взгляд не оторвать от жизни тленной,
и кругозор мой до безумья мал.

Таково время, где акафист — лишь символ, не имеющий предметности, но существует как символ другой жизни и другого мира. Это еще не знак *иного*, лишь знак неудовлетворенности ближайшим. И естественно приближается обязательный спутник — это женщина или друзья. Образы свечки или ладана прорываются сквозь повседневность — скольжение и отчуждение мимо счастья. Скольжение мига... почти безумное становление, где настоящее не исполняется даже в прямом смысловом понимании. Тем более, не исполняется как подлинное. Кажется, не спасает даже любовная повседневность, сплошной морок неразличности.

сон ли...
жизнь...
все одно.
иногда только проблеск сознания.
лишь мечты мне остались,
и те начинают тускнеть.
позолота сошла,
обнажилась зеленая медь.
даже блоковских строк
я теперь никогда не читаю.

2. «ПРОСТОРА МНОГО, БУДУЩЕГО МАЛО»

Но обратим внимание на многоточия после знаков неопределенности («сон ли... жизнь... все одно») — wpłyвает то, что поверх повседневности. Это — не *другое* среди множества рядоположенных вещей и действий, а именно *иное*, но воплощается и становится видимым в ближайшем. Вырвавшись на свободу из повседневности и стершихся слов, можно находить себя в простом и доступном на ласковом берегу любви.

стоит только протянуть руку
взять тебя за плечи...
все просто
очень просто
когда звучит МЭМФИС-БЛЮЗ.

Так просто обретение, но это простота временная и временная. Обретаемое видимо и слышимо, осязаемо. Это спасение от неподлинности слов и от тоски существования. Но даже когда

и от души к душе,

приблизена полнота тихого счастья, не пропадает ощущение заблуждений в словах, и лики судьбы не угадываются

в названьях. Любовное сближение и слово запретного — ДВОЕ — лишь отдаляют от тоски и грусти, но вовсе от нее не избавляют. Впору вспомнить слова Ханны Арендт о том, что, ввиду заложенной в ней безмирности, все попытки изменить или спасти мир любовью ощущаются как безнадежно ошибочные. И хотя прорастает близкое по звучанию к словам повседневности совсем иное Слово над всеми надрывными речами — естественность любовных встреч начинает напоминать сусальность лубочной картинки. Если в ранних стихотворениях речь идет о возможном утверждении —

Сказал Господь — Да будет Слово!
И слово сделалось судьбой.

— это словно бы ожидание и даже взгляд со стороны, то со временем и над временем будет нарастать иное представление о судьбе, духовном опыте и творчестве.

Но к этому ведет трудный путь и представление этого пути через внимательное всматриванье и вслушиванье не только в свои слова и переживания, но через вселенский опыт творчества. Появляются и крепнут интертекстуальные образы и сюжеты, посредством диалога с которыми разворачивается письмо. Может показаться, что это — своеобразный опыт глоссолалии как умения говорить на незнакомых языках в стремлении приблизиться к себе через опыт творчества предшественников.

Философ, который начинает с себя, это потенциальный самоубийца? И поэт, который обращен к себе, но пользуется уже найденными словами, неизбежно попадает в плен языка, переставая быть собой? Спасает только предельная искренность с неповторимой проникновенностью, но искренность с полным осознанием превосходения, если угодно, своей душевной ограниченности. Ведь у каждого творческого человека есть свой сильный критик-

предшественник, а если его нет, то происходит производство штампов и стереотипов. Александр Блок ответил, кто ему мешает писать: Лев Толстой. Поэтому ход к самоочищению — через самопонимание, где есть несомненные ориентиры и хранящиеся образы.

Это именно разворачивание письма... производство смысла творчества и существования. В этой экономике (напомню, что экономика в исходном смысле означает обустройство бытия) производится поэтическое существование и поэтическое существо, становящееся для себя труднейшей задачей творчества. Сферичность означает цельность, но отнюдь не завершенность, — просто все оказывается схваченным в одном окоме взгляда. В произведении «Страницы дневника “ОРФЕЙ 1973”» главный вопрос задан поэтом самому себе.

что привело тебя к ОРФЕЮ
стремление понять себя,
 стремление преодолеть творческий
кризис
или понимание того, что «орфеизм»
стал нашей религией

ты пытаешься забраться в свое нутро
чтобы выяснить как мы можем существовать
 на грани тяжелейшего
противоречия
на грани поворота головы,
 делящего нашу жизнь на две зоны
правды и лжи
духовного и бездуховного.

Наряду со словами АРИЭЛЬ, ЗЕРКАЛА, МОСТ, которые ступенями пути привели к ОРФЕЮ, вещественно и необходимо прибавлен ХЛЕБ, как «продление поиска смысла жизни, поиска философского камня», стремление выйти

за пределы противопоставления поэзии и жизни. И только на фоне образов обреченности появляется проникновенное *остраненное* видение самого себя — осознано экзистенциальное одиночество.

...появилось зрение
но ты видел только себя
только себя в декорациях безжизненного
застывшего мира
душа твоя была столь неистова
что не замечала движения
хотелось зафиксировать взгляд на себе
разглядеть свое лицо
но зеркала вращались, дробились,
опадали дождем и снегом
и опять пустота
отчаянье.

3. ПОЭТИЧЕСКОЕ КАК БОЛЬ

Каков следующий знак времени? *Бросок* мимо и сквозь отражения зеркал и отражения других строчек («Друг друга искажают зеркала / Взаимно искажая отраженья / Я верю не в непобедимость зла / А только неизбежность поражения»)? Прорыв сквозь решетку строчек — «сквозь бумажные стены» — к обретениям и утверждению. Каким образом и за счет каких сил? Через МОСТ — это дорога к людям, дорога к самому себе.

к себе земному и простому
к себе — не выдуманному,
там на вершине МОСТА ты найдешь
свое предназначенье
свою причастность вечности
долго искал ты свой Мост и теперь на его вершине
в твои раскрытые ладони опустилась звезда

звезда ВЕРЫ, ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ
чистая как родниковая вода и прозрачная
как кристалл поэзии

потом ты пошел вниз
к людям
к добру
к ХЛЕБУ и встретил по дороге ОРФЕЯ
ОРФЕЯ предавшего свою ЭВРИДИКУ.

Казалось бы, путь найден и определен: поэзия и существование соединились. Можно бы остановиться, давая голоса существу и себе самому среди всех. Но оказывается неутоленным стремление — ведь суть поэтического состоит в том, чтобы дать голос неопределимому, которое без стремления к определенности вообще не может быть ни помыслено, ни представлено. Но есть надежда, становящая иллюзией.

сколько раз тебе хотелось привалиться к убогому кресту на вершине, просто к нагретому солнцем камню
но остановиться значит стать эпигоном самого себя.

Неутолимое стремление бросает вперед: растрата всего приобретенного — условие для роста. И тут индивидуальное самоумаление становится условием роста.

я только крик убитой птицы
звени безумия струна
мне боль нужна с любовью слиться
мне боль отчаянья нужна

Лирический герой — ведь нельзя же проецировать стихотворные строчки в непосредственную жизнь автора, — взыскуя «любви прекрасной», еще полагает, что можно спастись чтением.

...слишком сильно трогает прочитанное
это Мережковский «О причинах упадка и о новых

течениях современной русской литературы»
как он прав в предвидении того, чем оживится
и сможет жить
русская поэзия

желание повторить Христа
и действительно щемящее чувство при виде
деревенской церкви
даже разрушенной
до боли, до крика, до желания сойти
с ума от чистоты и святости
этого места
куда ведет отчаянье куда
где наш приют ухоженный и тихий
следим с тоскою но ведет звезда
не нас в опочивальню Эвридики.

Чтение не удовлетворяет, спасительными представляются зов покаяния и просьба о прощении. Орфическое живет только в собственном наполнении и исполнении. Может показаться, что это — авторская гордыня приведения орфического творчества к самому себе, тем более, даже не к своему представлению о творчестве, а присвоение самого образа Орфея. Нет, орфическое — не гордыня, а приведение к ясности, словно бы непосредственное усмотрение сущности.

в чем же сущность ОРФЕЯ
только ли во всепобеждающей силе любви
и еще более могущественной силе рока
в чем сущность твоего ОРФЕЯ

в том, что потеряв душу
потеряв веру в Бога
потеряв национальное самосознание
...через литературу, музыку, театр мы спускаемся
в ад современности

чтобы найти там самих себя
свое сердце, душу, любовь
и вернуть им жизнь.

И сразу же признание автора: даже такое освобождающее от иллюзий творчество не дает силы. Впору предаваться унынию — неспособность к творчеству оборачивается отсутствием жизненной силы и фиксацией беспросветности и в понимании мира, и в понимании самого себя. Мотив не новый, значимость его может быть только в том, как этот мотив исполнен. Прежние следы-смыслы подчиняются тому, против чего восстают. Но это же не дает совершаться творчеству — не только «не идут строчки», но «не идет жизнь: душа ослепшая мертва».

я не в состоянии написать больше ни строчки
душа мертва
осталась половинка воспринимающая
созидающая высохла
говорят это физиологично

и немое в дверях отчаянье стоит.

Но если все дело в отсутствии строчек, от чего и «душа мертва», то выведут ли к пониманию и свету слова, уже написанные другими, и образы, уже найденные? Оттуда — из интертекста слова приходят, уже отыгравшие свои первозаданные подлинные мелодии.

опять опять зовет труба
но на коня вскочить нет силы
а он горячий и игривый
все ищет ищет седока
храпит и дыбится слегка
и вот тогда наедине
с опустошенной душою
смерть избавление от боли
и неспособности писать.

Но действительно ли уравниваются в смерти избавление от боли и неспособность писать? Не слишком ли горделиво вознесена способность сочинительства? Или это *остранение*, стремление так показать личную страсть к писательству, что это превращается в прием организации материала? Оказывается, действительно неспособность писать непосредственно выводима из неподлинности существования: и то, и другое сходятся в одном существе нераздельно-неслиянно. Но объяснимо ли бытие поэтического подлинностью жизни? Тогда выходило бы, что только праведник — истинный поэт. Поэтическое будто бы находит для себя объяснение как жест подлинной жизни.

...тебе хотелось ходить и ходить под дождем
а потом сразу умереть
никого не видя
ни с кем не разговаривая
всю жизнь ты обманывал всех
и прежде всего самого себя
ты строил дом, карабкался от должности
к должности
зарабатывал деньги
был ли ты счастлив
и правы ли были люди требуя от тебя повиновения
остро захотелось все бросить
уйти с работы
уехать куда глаза глядят и работать, писать
пусть плохо
пусть безобразно, но писать, писать каждый вечер
каждую ночь
пить, губить свое тупое тело способное жрать,
прятаться и лгать
больной и убогий ты был бы здоров
такая пустота в груди, что кажется там нет
никакого сердца
даже каменного.

Действительно ли именно эта представляемая роковой
двоица

«там — поэт
здесь — обыватель»

оказывается способной порождать творчество? И творчество только тогда возможно, когда преодолены *муки* обыденной жизни? Но ведь без мук и боли невозможен «стык разрыва» поэтического и того, против чего словно бы поэтическое ополчается. Даже существует, напомним, замечание Мартина Хайдеггера об исходной семантической близости *боли* и *логоса*, об их общем корне. Значит, поэтическое не способно представить собственное существование без боли — наоборот, именно боль от неосуществленности порождает поэзию. Но это не избавление от боли, а умение пребывать посреди мира в языке, с которым и в котором ведется непрестанная борьба за точность и обладание смыслом. Избавление от боли и неспособность писать могут быть уравнены в смерти? Могут, но только для личного исполнения. В творчестве можно, наверное, начать все с начала.

Я должен начать в самого начала
Раздеться
Разложить инструменты
Разрезать кожу, клетчатки, мышцы.
Отыскать эту боль засевшую пулей в теле
Эту непонятную тянущую боль

Возможно ли обретение такого места и смысла — «последнего приюта», — где возвращение к ясной тишине? Возможно, и даже поименовано.

так хочется любви
о смилуйся Спаситель
перед тобой душа поверженная ниц
пусть кукла оживет

тебе вручаю нити
и маски и слова всех действующих лиц
но на подмостках тьма
рожденные слепцами
актеры вторят снам
нашептанным вином
а публика бренчит в карманах медяками
и птицы синие трепещут за окном...

Если бы речь об одном пернатом существе, в расцветке которого присутствует синий небесный цвет, можно было бы представить Жар-птицу. Но множественность пернатых говорит скорее о трепещущем мельтешенье и совпадает с бренчанием медяков публики с неразличимыми лицами. Тогда и присутствие существа, к которому высказано обращение за милостью, представляется лишь риторическим жестом. Господствует и буйствует другое, среди которого боль души оказывается среди своих подручных существ и повседневных переживаний.

Как совместить боль и поэтическое? Простой технический ход:

формализованных натывать спичек в лад
и пусть горят изображая флаги
так браги бьет струя тугая
когда ее перетомят
течений разных рвут на части
края тупые тело песни
она от холода и зноя
вдоль края трепетного треснет.

а ноты неизбывного трагизма
а ноты боли что терзают душу
а боль души изорванная псами
и зассанная сворой проституток
слепая с отекающей походкой
ты в гору лезешь к флагам формализма
они как спички гаснут на ветру

я хлеба корку взял и запах
ее так прост понятен постоянен
что я подумал — вечности начало
в моей руке изломанной сарказмом.

Спасение в простоте — хлебе, вещности и писании прозы. Ведь если прекрасное недостижимо, спасение в увлеченности и самозабвении — тут не будет боли, но не будет и поэтического. Это спасение не в поэтическом-желанном, а в забвении повседневности. Тут пусть умирает душа и затихает боль — ведь ничего нет страшнее для поэта, нежели недостижимость желанного. Но такое умирание ради сохранения: прекрасное не только трудно, как сказано в конце одного из диалогов Платона, но и страшно.

...Ибо нет ничего страшнее
жить рядом с факелом души, совести, справедливости
и любви

На том мосту, где тишина грустит,
где листья проплывают молчаливо
стоим и ждем отлива ли... прилива
дыханье снов и судеб затаив.

Но боящийся, как известно, в любви несовершен.

4. МОСТ... ПЕРЕХОД (80-Е ГОДЫ)

Переход от размышлений к поэме.

Когда возникнет стих, тревожен и горяч.

Теперь уже не жизненные переживания вызывают стих, а строчки создают переживание. Не природа, не вещь и не предмет, а уже сказанные слова вызывают и подгоняют переживания. Будто бы совершается насилие словности над открывающейся и предстоящей жизнью. Но словно бы именно так совершается и спасение.

А сейчас не окрещен и не заласкан,
Никому в своих исканьях не поручен,
Буду петь, и уготованная чаша
Может, нас с тобой, любимая, минует.

Именно пребывание на переходе стяженно соединяет поэтическое и жизнь, хотя поэтическое-как-жизнь является источником и родником слов и жизни. Остается вопрос, рождаемый на переходе-пределе. Встает вопрос о том, что непосредственно не присутствует, но именно к нему обращение. Это даже не вполне заданный вопрос, непонятно, кто должен ответить, это словно бы намек на озарение.

Пребывая в аду раздвоенного мира,
где неправда и правда свивают кольцо,
в чьих руках, чьих коленях мой гений спесивый
прятал мятое плачем и прозой лицо

Кто мне в руки вложил эту звонкую лиру!
Кто страданьем очистил ее ото лжи?
Если Муза и Бог, то откуда их сила
в этом маленьком сердце
Откуда?! Скажи.

Это — вопросы, ответов на которые нет не только у лирического героя, но и у времени, словно бы стремящегося выйти из самого себя. Если угодно, это переживание не только конца вполне определенного календарного времени, но и самой временности как стратегии понимания и смыслогенеза. Когда у истоков этого понимания Василий Розанов отдельными фрагментами набрасывал произведение «Апокалипсис нашего времени», то речь о кризисе временного измерения. Только сегодня философы заговорают о необходимости создания новой «поэмы утверждения». Но если вопросы встают, а ответов в своем времени нет, значит, нужны новые пути слова. И в творчестве Дмитрия Ивашинцова появляются образы Эллады, набирает

силу мифологика, появляются сонмы теней, чье место за Стиксом, приближаются колдуньи, костры и мадонны, «ад безмолвья», где не звучат голоса, и в крике лирического героя заявлено:

И у Данте
в круге девятом
свободней. Свободней!

Мир не наполнен, время словно бы лишается самого себя, но это не бытийное качество, о котором сказано, что время есть тем, что оно непрерывно проходит (Мартин Хайдеггер), а качество-состояние, словно бы включенное в отношения обмена и платы.

Кто нам заплатит за наше безмолвье.
Кто нам заплатит

Были мадонны,
Святые, младенцы.

И если в детском лепете, как писал Владимир Библихин, или во младенческом взгляде, что отметил о. Павел Флоренский, пребывают все возможные смыслы и образы, то речь о существовании изначального дословного приятия, переживания и родства. Следовательно, нужно вернуться к тому любовному началу, где платоновский Эрот предстает как самый древний из богов: он не нуждается ни в ком, а в нем нуждаются все.

Это завет Эвридики:

...возьми свою лиру.
Пой, мой любимый, и мрака не будет.
Пой, мой любимый.

Но время не отпускает. Одна сторона моста упрочена в трансцендентной любовной силе и тайне, другая упирается в берег времени. И мост не прост и словно бы заколдован:

это искривленное пространство страшит не только бессмысленностью плодящихся складок, но и тем, что оказывается в конце каждого из набросков.

Разверзлась бездна, что за ней?!
Близка ты, смена поколений,
Полно за пазухой камней.

Вот словно бы и кончилась заявленная тяжба поэтического и временного: побеждает страх времени. Не метафизики времени, а времени с его знаками власти и устрашения. Искривление пространства коснулось и самих стихотворных строчек, точнее, того, что они представляют.

Кто жаждет слов, не подходите. Нет!
навек мои уста свела гримаса страха.
Не в силах и шепнуть, я знаю: В слове грех!
Ждет исповедь глупца, а пустозвона плаха.

Свободен я пока, но темных страхов ад
Пророчит мне: сумы с тюрьмой не зарекайся,
Сожги свои стихи и у Герба покайся...
И мертвые слова под языком дрожат.

Поэтическое существование словно бы пронзает время — это не опыт повседневности, а переживание искренности: верьте не смыслу, а поэтическому присутствию. И любовь здесь — не спасение, она не может остановить войну или насилие, а порядок исчисления.

Недостижимый горизонт. *Неизбежное*. Но что действительно неизбежно, если «лабиринт не разгадан», а любовь вослед всему проваливается в черную дыру времени? Необходимо на избранном пути сопротивление неподлинности и забвения.

Таковы циклы «Варианты искусства» и «Песни ночной цапли». Утверждение жизненной любовью и поэтическими строчками, где они обращены друг к другу. Слов

не хватает? — тогда в поиск. Это поэтическое стремится утвердить себя во времени, а время стремится укрепить себя в стихах.

Пространство расширяется, подпитывая строки: «Брежу, счастья ищу — юродивый...», — тут и жестокости Восток, и святые воды Иордана, и театр марионеток, и набор масок, и тень Голядкина, и близкие и далекие актанты и персоны. Будто бы найдены адреса и адресаты для стихотворных строчек, Заратустра тоже среди персонажей.

разный путь у несущих свет
кто-то рождается у реки
а я родился в знойной пустыне
безжалостно жгло меня солнце мысли
и только пустотой была наполнена душа моя.

...шел сквозь пески
И нес свою душу полную света
Света любви к людям

5. СЛОВОВЯЗЬ. И ЕЕ ПРЕДЕЛ?

Но если ницшевские образы снова возвращают темы боли и одиночества, то возвращают и свет любви к людям над уровнем повседневности и «человеческого, слишком человеческого». Уже к этому надчеловеческому стремятся быть найденными слова в искусстве слововязи. Надо думать, что в том времени не хватало наличного течения слов, нужны были новые, чтоб сказать о другом и ином. Необходимо то, что схватывает более цепко и непредсказуемо, перемещается вольнее, искреннее звучит, действует сильнее и жестче («тени бегают быстрее»). Шестьдесят пятый год прошлого века и годы рядом с ним — как раз то время, когда не хватало прежде сказанных слов. А для того, чтобы выразить новые ощущения, нужны были новые слова и новые сыгранности слов.

«Я вижу, что теряю образность. Ее надо вернуть. Как и какую? Ведь система образов зависит от техники писания стиха.

Слововязь предполагает вязание образов. Неразрывность образного потока. Определенный автоматизм».

Это значит, что надо вязать слова словно бы против их привычной воли, навязывать новое видение, показывать так, как никто не показывал — совершать *остранение*. Но само усилие навязывания не является для поэта уже чем-то или кем-то изначально навязанным? Дело не только в том, что никто не начинает с самого начала, а всегда уже в потоке слов и интонаций. Дело также и не в том, что всегда бывают с трудом представляемые и даже вовсе неведомые предшественники — у каждого есть свой сильный критик-предшественник. Александр Блок говорил, что ему мешает писать Лев Толстой.

Дело в незаметно подступающей опасности, когда кажется, что можно уловить неуловимое посредством известных средств — приручить поэтическое. И если кажется, что это удастся совершить благодаря своим переживаниям и находкам в «духе времени», то вместе с таким временем казавшаяся совсем недавно удачливой ловитва неизбежно оказывается поражением. Но все-таки многое можно представить и совершить хотя бы во взгляде на поэтическое во времени.

«Действительно, в дальнейшем придется заняться связью звука и психической реакции на него. Нужно найти цветовую гамму звука. Это в музыке. А в поэзии — гамма букв и слогов».

Знаки времени словно бы совпадают и даже сливаются со знаками над временем. Но время в его преходящести всегда не есть лишь то, что оно есть в определенную эпоху. Еще раз имеет смысл вспомнить слова Хайдеггера о том,

что именно преходящесть является сутью времени. Естественно, в поэтическом должна быть усилена словно бы независимая от времени звуковая сторона — следование ассоциаций и аллитерационные сочетания горделиво стремятся к господству и восхищению. Также, можно сказать, естественно, что стихи-слововязь рассчитаны в большей степени на слушание и на рождение смыслов, которые порождаются в напористом чтении. Неслучайно ряд стихов из цикла «Шестидесятые» с посвящениями — их должно слушать. Ритм и звукопись стремятся преобладать в стихах, стремятся обратить на себя внимание в *этом* времени, стать самодостаточными. И даже исповедальные строки с их намерением проникать в тайное и интимное начинают поспешать в ритме. Это, можно сказать, — жест слегка запаздывающего в таком времени модерна, когда идеи и переживания словно бы стремятся промахнуть сквозь свое время в призываемое ритмом и слововязью будущее, понимаемое как настоящее. Недовольство своим временем устремляет к другому, даже не так важно при этом устремление вперед или назад. Это обращение к некоему не вполне определенному существованию, но такое существование определяется по своему понимаемой временностью.

...я юродивый
родственник ивы
я уродливый пасынок пастбищ ума
я урод
 либо Вий
и корявой пригоршнею уха
все ловлю и ловлю имена...
 юродивый,
 юродивый!!!

Конечно, эта ловля имен во времени не совсем сродни делу юрода, юрод говорит о том, о чем не могут, боясь

или не понимая, говорить другие. А в том, что может казаться очевидным и расчисленным, нужно наработать алгоритм, именно выработать ритм восприятия мира — среднестатистическое восприятие, переживание и проживание. Это может быть при таком взгляде распространено даже на религию.

«Что способно уравновесить центробежные индивидуалистические тенденции? Прежде всего, религиозное мироощущение. При этом под религией мы будем понимать существование некоторого набора символов и ритуалов, и/или коллективных обрядов, которые вызывают у верующих чувство почтения или благоговейного страха.

Религия устанавливает также систему правил и заповедей, освященную высшим религиозным авторитетом. На коллективно-индивидуальном уровне рефлексии религия снимает остроту вопроса о смысле жизни, оправдывая кажущуюся ненужность и несправедливость многих жизненных ситуаций».

Ситуация, казалось бы, ясная. Но в ней же растет бунт против калькулирующей ритмологии времени. В цикле «Луна слепых, или поэтический опыт постижения супрематизма» в разрывах ритмологии уже представлен непосредственный духовный отклик и обращение к символам христианства:

«...замыкается кольцо любви Бога и любви к Богу. Когда Бог перестает быть принадлежностью отдельного человека или группы лиц, но становится осознанной основой мира, любовью к миру во всем его разнообразии. Когда камень и дерево, человек и зверь станут равными, но не друг другу, а тому божественному метру, который не имеет ни границ, ни измерения».

Это все руки,
аскетические руки грозы.

Это все пальцы —
Нервные пальцы молний.
Молитесь!
Молитесь!
Звонят колокола ночи.

В скобках под этими строчкам стоит: «Написано по графику в 1965». Это график времени или письмо-иллюстрация сведенных к графической схеме наблюдений и образов?

6. ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПОЭТИЧЕСКОЕ

Психологическое не удержится в схеме и рвется к неповторимости представления. Изображения и стихи-вслед не примиряют стихии, хотя вроде бы для этого выстроены, а показывают принципиальную несводимость не только изображенного и сказанного, но и неспособность выразить объединенным усилием то, о чем хотят и могут свидетельствовать. В цикле «Памяти Казимира Малевича» представлено стремление понять квадрат как предельный смысл и глубину. Действительно, можно представить «Черный квадрат» как живописный смысловой оттиск иконы «Сосшествие во ад» — предельная опустошенность означает и возможную предельную наполненность, только не одновременно, а в восходящей смысловой и духовной потенции. Общение с образами супрематизма, если они так могут быть называемы, вызывает вопросы, и чаще всего без ответов.

Нарисуем квадрат
И как в зеркало глядя в него
Не пойдем ничего
А ведь там пустота
Пустота и обман и тоска
В этом белом квадрате.

...И мысль:
назначено судьбой
не знать, где Бог
где кто...

...И философия —
зияющая рана:
Что там за краем?
Что во тьме углов...

Вроде бы растут объяснения, а вместе с ними и понимание. Нарастает индивидуация в стихотворениях, словно бы совершается бегство от страшных откровений и открытий. Можно сказать, что схваченные рамками *квадратное* и *круглое* не утешают, но дают надежду приближения к пониманию. Острые углы *квадратов* — словно бы стрекало для поэтических строчек, а *круги* — фигуры завершенности. Но событийность обоих усилий стяженно слагается в тех знаках, которые над временем. И это обращено как к теме вечности, так и к неповторимому существованию.

Остановись, опомнись на мгновенье,
и, может быть, заметишь ты тогда
как вечности скатилась на колени
судьбы моей вечерняя звезда.

7. НЕПОВТОРИМОЕ

К вечности нельзя обратиться непосредственно и лично. Как и к человечеству, мировой душе, абсолютному злу или вселенскому добру. Всегда в таких усилиях посредствует поэтическое или молитвенное. Можно иметь дело только со знаками времени, стремящимися стать знаками над временем, — иметь дело, осознавая недостижимость.

И вот нависло небо. Нет дождя,
но душно даже посредине поля.
Набухла глина, грезит колея
О вечности. И в этом наша доля.

Но в любви, кажется, все достижимо. «Взмах крыла» — именно так называется цикл с личным посвящением, словно бы соединяет в себе усилие и полет. Вечность словно бы воплощается в человеческой встрече.

Когда настанет час разлуки
и будем подводить черту,
хочу, чтобы касались руки
как мост, влекущий в пустоту

...Еще душа не отыскала
Того, кто скорбь твою простит,
И свет слепящий превратит
В небесный свод —
начал начало.

Такое состояние поиска предела способно переливаться из чувства близости со всем природно-сущим, хотя оно и остается недостижимым, в стремление к безразличью и даже желанию обезличить себя. Может, только такой отстраненный взгляд и способен создавать проникновенные слова, свидетельствующие о бытии и существовании? И тогда поэтическое восстанавливает полнокровность жизни и спасает?

Когда к чужому берегу спеша,
по льду на ощупь мы торим дорогу,
то кажется, еще совсем немного
и оживет уснувшая душа.

И оживут деревья и поля,
и от капли станет воздух чище,
но хрупок лед весной. Не докричишься
и не дотянешься. Хоть вот она — земля.

Как дотянуться? Войти в некое мифопоэтическое состояние, где поименование, предметность и чудо неразделимы, так миф понимал философ и литератор Алексей Федорович Лосев. Такая мифопоэтика спасает от идеологической определенности, когда все сводится к господствующему принципу или закону. Тогда способно появиться чудо предстояния и обретения, а вслед — ему поэтическая проникновенность. Дмитрий Ивашинцов в цикле «Семидесятые» говорит о *спонтанном письме*, оно пришло на смену методизма *слововязи*: «хочется говорить внутренним голосом, не заглушенным ничем». Это словно бы отыскивание начал — первичного импульса переживания и поименования, но это все-таки случайные броски письма. А эстетизм со времен появления термина именно и означает первичное поименование — это охотничье движение по следу, опасная и ответственная ловитва слова-имени. Опасная — именно потому, что неверно названный след приведет к встрече с опасным существом, хтоническим или природным. Поэтому такое письмо должно быть предельно обращенным к самому главному — оно задает ориентиры и смысла, а уж конкретное исполнение может быть спонтанным.

и понял я, что значит быть святой
что значит нас на муки и бесчестье вынашивать
под сердцем

Бога мать и ты
объединились
миф о смерти
Христа
и жизнь любого человека
едины.

Казалось бы, предельное приближение и понимание. Теперь возможно, определив исток и ориентиры, пустить письмо в свободное странствие. Так и произойдет: письмо

проникает в память, когда «счастье было былью» (цикл «ПАМЯТЬ»), в болезни и боль мира (из цикла «ЭТЮДЫ ХРИПЛОГО»), в трагическую повседневность времени (цикл «АФГАНСКИЙ ВАЛЬС»). Но в цикле «ПИПЛЗ»

Мир без Бога — обугленный миф мироздания,
Порядка и правил судьбы.

И тогда будто бы правы все и никто не нуждается
в оправдании.

Преданьям нынче положен предел.
Крестное наше знание.
Предан иль предал...
Сед или сер. ...Кафка, Дюрренматт
и так далее

Вы, от имени которых молчал и
молчу, потому что не отлита медаль еще
Видите как важно шествуют по лучу Христос, Пилат
И так далее.

Письмо начинает осваивать все близлежащее, в том числе буквы алфавита (цикл «АЗБУКА МАРАЗМОВ»). И уже среди этого испуганная молитва лирического героя — и проверка идентичности, и обращение к памяти (цикл «Лепестки»), стремление выйти за обманчивую спешащую повседневность. И присутствие Божественного, если угодно, — апофатического начала только в признании слабости и отсутствия.

Но нарастает молитвенность.

Ни креста на груди нет,
ни Христа впереди нет,
Нет в руках силы,
только голос сиплый:
— Пожалей нас, Господи!!!

Житейское жизнелюбие и гудящая цитатами голова среди цитат и слов молитвенности. Но это же знак утраты и потерянности во времени и понимание неподлинности существования.

И нам с тобою Бога не дано,
Созрела рожь,
 но медлит мертвый пахарь
и пьяное глумливое вино
наш разум гнет,
 чтоб целовали плаху

И мы с тобою не познаем Бога.

Что вместо песен пишется маразм,
Что под луной в свалывшейся соломе
Не я, а боров хрюкает в соломе,
Поэзию сменявши на оргазм.

Поэтому совершенно закономерно в ритме письма появляется тема «объяснения с временем» — «собственная тема поэтического монолога». Признание, что некоторые стихотворения напоминают «непроизвольный крик, в момент, когда тебя ранят». Речь, можно сказать, о поэтической сублимации и даже о поэтической терапии, стремлении «передать эмоцию непосредственно и без искажения». Именно это представляет лирический онтологический герой — экзистенциальное одиночество. Естественна и логична сразу же вслед тема лингвистической катастрофы: «нагруженное смыслом слово убивает поэзию». Казалось бы, перспектива ясна и, более того, уже намечена в высказывании о том, что значим в поэзии «только звон». Но этот звон в творчестве и рефлексии сопоставлен в стихах не с чем иным, а с коллективным бессознательным. Именно в отношении к нему будут выстраиваться становящиеся реальными поэтические эксперименты («Культура в первую

очередь должна взять на себя функцию экспериментальной площадки будущего»).

Но достаточно ли этого утверждения для поэтического письма, протянутого во временах над временностью? Достаточно ли признания-констатации того, что экзистенциальное невыразимо и непередаваемо в словах?

Конечно же, необходимо внимание к предметности: одна из работ Бруно Латура называется «Вещи дают отпор», Хайдеггер писал о *вещи*, а Розанов утверждал, что самое главное — это «частная жизнь» во всей естественной полноте вещности и любовности. Как с учетом архетипов, слововязи и осознанием так называемой «лингвистической катастрофы» возможно действие поэтического в его актуальном и ответственном предстоянии бытию? В критическом эссе «ПРЕОДОЛЕТЬ НЕИЗБЕЖНОЕ» автор словно бы поверх всех воплощений лирического героя дает совет:

«...объем реализации антикультуры будет во многом зависеть от вооруженности высокого искусства последними достижениями науки и техники. От опережающего освоения новых и сверхновых технологий и эстетических техник. От испытания новых условий в тигле искусства.

Сила и трагедия творческой личности состоят в том, что художник вынужден выводить на поверхность и облекать в приемлемую другими форму конфликты и откровения своего подсознания. ...Барьеры, существующие между нами и колоссальными ресурсами сети, не позволяют синтезировать НОВОЕ. Ограничения физической природы человека не позволяют ему жить космическими страстями.

Выводя любимую из Аида, не следует оглядываться назад. Только так можно преодолеть НЕИЗБЕЖНОЕ. Тем более, что Эвридика — это наша душа».

Совет дан и даже укреплен в знаках времени, но подчиняется ли *письмо предписанию*? Развертывание письма —

еще раз имеет смысл напомнить, что автор — это гость своего текста — обращено все-таки к знакам над временем. Не состояние, хотя без вдохновения невозможно, не противостояние времени, сознанию или личности, хотя и без этого нет творчество, а предстояние жизни в его несводимости к рецептам и установкам. Тогда присутствие тайны жизни, к которой проникновенно стремится поэтическое слово, вновь поднимает над знаками времени. И это уже не знак поклонения и даже не знак личной веры, а свидетельство о жизни во всей ее полноте в осознании предельного и порой трагического состояния поэта. Изначальное приятие — *гостеприимство* жизни, следует вспомнить, Жак Деррида называл Законом над всеми законами.

Как проникает в сердце Бог,
не знаем мы, но час настанет,
и вот он — огненный порог,
где сердце биться перестанет.

Там не безжизненным краю,
где тишина плывет сверкая,
молитву первую свою
к Тебе без страха обращаю.

И Ты не станешь упрекать
за страсть, за сердца злую муку
и снимешь с верою разлуку
с души, как ложную печать.

8. «В ГУБАХ МОЛИТВА ИЛИ ПЕСНЯ...»

Существует экономия творчества. Эконом — тот, кто обустроивает бытие в согласии с текучим и все-таки становящимся устойчивым миром. Именно «влажное слово», которое так превозносили византийские риторы, впрямую сопоставляя его с самой возможностью романа-письма,

проникает в существование, встречи и переживания. И если говорить о лингвистической катастрофе, то дело совсем не в том, что существует невыразимость переживаний. Это, конечно, знакомо каждому. Катастрофа как переживание поэтического начинается на пределе выразимости, где должны быть обреты или вновь созданы поэтические слова, которые автор хочет найти.

Так и слова созрев
В сердца упасть должны
впитав неровный ритм
пустот и полноты
и тяжесть светлую творенья

Кем и чем определяется долженствование? Самим вниманием к бытию, трагические события которого порой поддаются только поэтическому слову. Храня и представляя свое поэтическое переживание (ведь поэтический опыт как определенность невозможен), Дмитрий Ивашинцов в книге «МОЛЧАНЬЕ» (2020) в предисловии пишет:

«Мой путь в поисках своей самости шел через Лабиринт с его тупиками и фобиями. Освоение мифологического опыта не бывает простым и линейным. Хаос, бормотание, немота. Слова зачастую мешали. Мешал шум времени. Мешало даже чуть слышное тиканье часов. Чувства пытались выплеснуть музыкой, но ее инструментарий был для меня недоступен. В стихах присутствует еще один вид молчания — молчание страха. Блуждая в Лабиринте, я все время ощущал смрадный запах Минотавра. Иногда этот смрад становится невыносимым. Так пахнет тоталитаризм.

Все написанное мной, распадаясь на циклы и отдельные стихотворения, является единым произведением. Эта книга стихов представляет собой освоение территории мифа тем способом и средствами, которые были рождены молчанием».

Но что рождается в молчании? И опять обращение к тому, что стремится поэзия выразить и что создает ее проникновенную силу.

Что в слове «Бог» для сердца моего?
...Распятыя тень,
плач женщин изможденных,
слова молитвы
или прах сожженных,
что в слове «Бог» для сердца моего...
Возьми меня за руку,
рядом
пройдем по аллеям осенним.
Пусть статуй серебряных тени
укроет от ветра листва.
Сжимается сердце,
мы в мире
как парусник в море безбрежном...
Дрожащие тени, и ветер,
и вера, что берег вдали.
Быть чистым,
как камень,
как ива!
Быть честным... какая награда?
Бояться ли ада
и жаждать ли рая,
не знаю...
не верю я в это.
Но входим в забытые церкви
и видим:
осенние листья
свивают венок безыскусный.
Свивают венок безыскусный.

Вслед хочется задать вопрос почти из цыганского гаданья: «Чем сердце упокоится?». Не только сердечное беспокойство поэта, но и проникновенная сердечность поэзии.

Может ли в некотором временном достижении остановиться поэтическое «влажное слово»? Надежда поэтического только на самое себя, и ответственность только перед собой.

Там, в этой пустоте, свершается над нами
Древнейший заговор, что знает наш язык,
И смотрит в душу Бог бездонными глазами,
И тает плоть, как воск, как в небе чей-то крик.

Поэтический эрос соединяет, но и это — не самое главное. Поэтическое совершает бесстрашные странствия по временам и над временем. Но даже переживание отчуждения оказывается не знаком отсутствия близости и родства, а влечет за собой свидетельствующее утверждение жизни.

Мы чужие пришедшему. В ночь
так уходит багрянец заката.
и не в силах друг другу помочь,
не отводим ни сердца, ни взгляда.

Там впереди. А разве нам известен
наш путь из ниоткуда в никуда...
Горит, горит волшебная звезда
и высоко Рождественское небо.

Сергей Довлатов, Юз Алешковский

ИЗ ПИСЕМ ЛЬВУ И ЛИДИИ ДРУСКИНЫМ

Публикуемые письма поэту Льву Друскину и его супруге Лидии относятся к первой половине 1980-х годов. В конце 1980 года после преследования властей, обыска, конфискации рукописей и изгнания из Союза писателей СССР Лев Друскин был вынужден эмигрировать из страны. Обосновался в Германии, где, несмотря на болезнь, опубликовал несколько книг на русском и немецком языках. Поэт был глубоко включен в идейные и литературные перипетии позднесоветской эмиграции и вел обширную переписку. Письма Сергея Довлатова и Юза Алешковского, любезно предоставленные нашему изданию вдовой поэта Лидией Друскиной, — значимые для понимания литературного процесса и стилистически блестящие свидетельства закатившейся эпохи.

Сергей Довлатов

Дорогие Лиля и Лева!

Получил ваше письмецо, спасибо.

Действительно, никто и никогда не предлагал мне штатной работы ни в «Гранях»¹, ни на «Либерти»², но если бы такое предложение воспоследовало (или — ниспоследовало?), я бы вынужден был серьезно задуматься. Конечно, материальное благополучие, и тем более — стабильное — вещь заманчивая, да и страховки не помешали бы на старости лет, но при этом — мать обросла некоторым количеством знакомых, отец прикипел душой к русским продовольственным магазинам, 7.000 человек в нашем микрорайоне лопочут по-нашему, дочка никогда и ни за что не уедет из Америки, не расстанется со своей любимой поп-культурой и чувством тотальной безответственности, да и Колю³ я не хотел бы превращать в немца. Сам я никогда немцем или, допустим, французом, не стану, американцем же человек становится психологически в ту минуту, когда вылезит из самолета в аэропорту имени Кеннеди. К этому могу добавить, что Америка, и тем более — Нью-Йорк как сверх-Америка — прельстительное место, именно — прельстительное, если быть точным. Чем-то она тебя обволакивает, и потом очень трудно вообразить себя живущим, например, в Лондоне или в Париже. И так далее.

Я ничего не могу сказать о деловых качествах Рудкевича⁴, но хорошо помню, что он необычайно милый, любезный

¹ «Грани» — литературно-публицистический журнал русского Зарубежья, созданный представителями второй эмиграции и издававшийся с 1946 по 1991 г. во Франкфурте-на-Майне. Зачастую воспринимался как печатный орган НТС, хотя формально не входил в его структуры.

² «Радио Свобода» со штаб-квартирой в Мюнхене вело вещание на СССР и страны Восточной Европы, входившие в т. н. социалистический лагерь. С. Довлатов в 1980-х г. вел на «Радио Свобода» авторскую передачу «Бродвей 1775».

³ Сын С. Довлатова Николай (Николас Доули) родился в США 23 декабря 1981 г.

⁴ *Рудкевич Лев Александрович* (1946–2011) — советский диссидент. В сер. 1970-х г. вместе с Т. Горичевой и В. Кривулиным издавал журнал «37», а также участвовал в работе Религиозно-философ-

и храбрый человек. Разумеется, есть, извините за точность — некоторая пиздоватость, но в журнальном деле какой-то момент абсурда необходим. Короче, я надеюсь, что они с Владимовым⁵ поладят.

Мама моя стареет, потихоньку глохнет, страдает головкружениями и головными болями, но юмор и общительность — сохранились. Думаю, что Коля очень скрашивает ей жизнь. Живем мы в тесноте и почти неутрачиваем армянско-еврейско-российском скандале, но все к этому привыкли. Лена⁶ абсолютно не меняется, как скорость света, я меняюсь к лучшему, хотя бы потому, что не пью, Катя⁷, естественно, стерва, но — не употребляет наркотиков (что в Америке большая редкость и вопиющий консерватизм), влюблена в одного конкретного и не отвратительного мне человека (а не в семерых), не участвует в ограблении банков и даже учится в колледже. Чего еще желать?! Отвечаю — денег! Но деньги, при всем уважении к ним — нечто такое, чего у Мандельштама, например, было в шесть раз меньше, чем у меня. Это утешает. Как писал Зощенко: «Мы, конечно, трудимся не ради денег, но все-таки гонорары вносят некоторое оживление в нашу писательскую работенку»⁸. Оживление — не более того.

ского семинара, который проводился в совместно снятой ими квартире под номером 37, находившейся в доме 20 по Курляндской улице в Ленинграде. В 1977 г. эмигрировал из СССР, жил в Вене, где вступил в НТС и стал представителем журнала «Посев». В 1994 году вернулся в Петербург, занимался научной и преподавательской деятельностью.

⁵ *Владимов Георгий Николаевич* (1931–2003) — русский писатель и литературный критик. В 1983 году эмигрировал из СССР в ФРГ, где с 1984 по 1986 г. являлся главным редактором журнала «Грани».

⁶ *Довлатова Елена Давидовна* (урожденная Ритман, род. 1941) — вторая жена С. Довлатова.

⁷ Дочь Екатерина, родилась в 1966 г.

⁸ Дословно: «Не то, чтобы мы пишем из-за денег, но гонорар вносит известное оживление в наше дело...» (*Зощенко М. М.* Комментарии и статьи к повести «Возвращённая молодость». Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. Екатеринбург: У-Фактория, 2003. С. 420–421).

Леве спасибо за стихи о Кушнере⁹, как всегда замечательные, и во-первых — простые, за одно это Леве будет поставлен памятник. Кстати, недавно я прочитал готовящуюся к печати книжку стихов Миши Еремина¹⁰ и понял всего два слова — «тъм» и «мгл» — это «тьма» и «мгла» в родительном падеже множественного числа. Остальное совершенно непонятно.

В Нью-Йорке произошло два культурных события. Во-первых, Бродский выступил перед русской аудиторией (что случается раз в три-четыре года), собрал полторы тысячи человек (на Вознесенского пришло вдвое меньше), довольно много разглагольствовал, и в частности, хвалил Кушнера, чему я был очень рад. Во-вторых, через неделю после этого Бродского наградили званием «Почетный гражданин Нью-Йорка» и по этому поводу было шумное гулянье в китайском ресторане. В ходе этого дела я спросил одного американца из издательства «Фаррар»: «Вы заметили, как мы его любим?». Тот ответил: «В Америке так относятся лишь к покойникам».

Кстати, на одном из подобных сборищ одна злобная тварь спросила Бродского: «Это правда, что именно вы добились публикаций рассказов Довлатова в “Ньюйоркере”¹¹ и “Кнопфе”¹²?» Наша киса ответил: «Я действительно послал рассказы Довлатова в “Ньюйоркер”, но я послал туда и сорок других рассказов, которые не напечатали.

⁹ *Кушнер Александр Семенович* (род. 1936) — известный советский и российской поэт, автор около 50 книг стихов, с нач. 1970-х — руководитель ЛИТО.

¹⁰ *Еремин Михаил Федорович* (род. 1936) — поэт и переводчик, представитель «филологической школы», одного из ранних объединений неподцензурной ленинградской поэзии.

¹¹ «The New Yorker» — американский еженедельный литературно-публицистический журнал, издающийся с 1925 г. и освещающий культурную жизнь Нью-Йорка.

¹² Издательский дом Альфреда Кнопфа («Alfred A. Knopf, Inc.») был основан в 1915 г., славится высокими стандартами качества своих изданий.

Кроме того, я, конечно, могу рекомендовать рассказы Довлатова туда-то и туда-то, но написать их вместо него я не в состоянии».

Это я рассказываю к тому, что Бродский — хороший и благородный человек.

Всех обнимаю. Желаю Лёве здоровой продолжительной меланхолии и полноценного творческого застоя. Все это, как известно, сменяется бурным подъемом, могли бы уж привыкнуть. Если имеет место осуществленное раз и навсегда качество, то никуда уже оно деться не может.

Ваш, С. Довлатов.

Из письма Лидии Друскиной Сергею Довлатову

Дорогой Сережа,

Пожалуйста, простите паузу.

Мы остановились на том, что кто-то спросил у И. Б.¹³ правда ли, что он Вам помог. А как Вам нравится такое письмо от старого друга, написавшего Лёве буквально следующее: «Есть вещи, о которых не принято говорить. Но скажи честно, разве помешало тебе твое еврейство печататься там и разве помогла мне моя русскость печататься здесь?».

К сожалению, я не смогла удержаться на уровне Бродского и написала: «Да издай книжку за свой счет, вы же оба работаете. Найдешь своих читателей, книжку раскупят, вернешь таким образом деньги». Но в том-то и дело, что не найдет и не вернет. И он знает это.

Мы тогда еще не переписывались с Вами, но я сказала Лёве: «Вот разыщу Сергея и Иосифа и отошлю им это письмо». А Лёва сказал: «Да плюнь ты, он и без тебя жалок». Так и плюнули. И Вам не надо быть ранимым. Вы — замечательный писатель. Дай Вам Бог!..

¹³ Иосиф Бродский.



*Лев Друскин и Иосиф Бродский в Коктебеле,
конец сентября 1970 г.*

*12 марта*¹⁴

Дорогие Лиля и Лев Савельевич!

Очень рад был вашему письму. Предыдущего, действительно, не получил.

Лёвина книжка мне очень понравилась, она — одновременно — веселая и сердитая. Кажется, я что-то подобное выразил в так называемой рецензии. Вообще, передачи для «Либерти» я пишу небрежно и халтурно, но, тем не менее, в соответствии с правдой.

¹⁴ Последующие письма относятся, по-видимому, к 1986 году.

В Европе я не бываю, все жду делового повода. Надеюсь, рано или поздно меня пригласит какое-нибудь издательство (намекы были), или, на худой конец, мюнхенское управление «Свободы».

Свои последние книжки я вам обязательно пошлю параллельно с этим письмом, и не для какого-то там семинара, а для вашего ознакомления. Сделаю это в ближайшие дни, ибо почтовое отделение далеко, так что хотелось бы совместить его с деловой поездкой в центр города. Расстояние же от нас до центра как от Зеленогорска до Ленинграда.

Вообще, живем мы очень не по-американски, поселились в русском пригороде, где говорить по-английски считается крупной бестактностью; в город ездим редко, питаемся селедкой и пельменями. Из окон то и дело высовываются еврейские мамы с криком: «Эдгарчик, ты не докушал рибу!». По-английски мы говорим ужасно, машину водить не умеем и не хотим, и так далее. Я то-то зарабатываю на радио + ничтожные гонорары, Лена купила наборную машину, сидит дома. Сын Коля в три года ростом с Кушнера, бандит и плакса. Чрезвычайно похож на Брюса Ли, героя тайваньских кинобоевиков.

Мать и папаша — живы, что в их возрасте показатель качественный. Собака Глаша — тоже жива. Дочка учится в колледже, стесняется этнических родителей, одевается в тряпки времен первой империалистической войны и все колеблется — прочесть ей «Капитанскую дочку» или не стоит.

Люда Штерн¹⁵ стала писательницей, гордой и обидчивой, Игорек Ефимов¹⁶ — тугодум и герой капиталистического

¹⁵ Штерн Людмила Яковлевна (род. 1935) — писательница, переводчик. В 1976 г. эмигрировала в США. Публикуется в зарубежной русскоязычной периодике, а также в современных российских изданиях. Находилась в дружеском общении с И. Бродским и С. Довлатовым.

¹⁶ Ефимов Игорь Маркович (1937–2020) — писатель, философ, издатель. Его работы печатались в самиздате под псевдонимом Андрей

труда, Марамзин¹⁷ разрывается между истовым православием и успешной коммерческой деятельностью, Бродский чрезвычайно причудлив, но в целом — очарователен, богат и, единственный, по-настоящему знаменит.

Вы ошибаетесь, думая, что мы здесь «все вместе», дружим и развлекаемся. Даже в самом Нью-Йорке все живут очень далеко друг от друга, не говоря о тех, кто в других городах и штатах. С Людой Штерн я вижу примерно раз в год, с Игорем — раз в два-три месяца, с Бродским — раз в полгода. Чаще не получается. Да и вообще, люди нашего возраста живут не в обществе, а в семье. Каким-то чудом нам с Леной удалось не развестись, семья у нас большая (мама живет с нами), квартира тесная, собака лает, птицы щебечут, единственное развлечение — собирать дешевые посылки в СССР. Я, например, посылаю одному джазману цененные пластинки, и каждый раз он падает в обморок от счастья.

Короче говоря, накопилось гигантское количество историй, которые некому рассказывать. Надеюсь, еще встретимся, вот тогда поговорим. Я и не знал, что Лева такой памятный и цепкий на всякие истории.

К изданию Высоцкого я не имею ровно никакого отношения. Просто я подарил какие-то фотографии издателю Бересту, и он за это где-то меня поблагодарил. Помимо Вознесенского в этот сборник, говорят, попали —

Московит. После эмиграции из СССР в 1978 г. сотрудничал в издательстве «Ардис», в 1981 г. основал издательство «Эрмитаж».

¹⁷ *Марамзин Владимир Рафаилович* (1934–2021) — писатель. В нач. 1970-х г. совместно с М. Хейфецем и Е. Эткиндром занимался подготовкой для самиздата пятитомного собрания сочинений И. Бродского, за что в 1974 г. был арестован и приговорен к пяти годам условного заключения. В 1975 г. ему было позволено выехать из СССР. Жил во Франции. В 1978–1986 г. вместе с А. Хвостенко издавал литературный журнал «Эхо».

Городницкий, Клячкин, и что уже совсем дико — Апухтин. Вообще, не стоило бы занижать уровень Высоцкого столь полным и неточным изданием, надо было выпустить 100-150 лучших текстов. Вообще, в Америке много пишут о борьбе Высоцкого с тоталитаризмом, жертвою которого он пал. На самом же деле Высоцкий, как вы знаете, был популярным актером, мужем кинозвезды, владельцем «Мерседеса» и неизлечимым алкоголиком. Эх, всем бы так жить при тоталитаризме!

Да, забыл сказать, что из «наших» тут безумно знаменит и прекрасен Барышников. Его физиономия красуется на фасаде крупнейшего нью-йоркского аэропорта. Я видел Барышникова в Мичигане, был с ним на одной вечеринке, где Барышников, желая сделать мне приятное, крупно расписался фломастером на борту моего единственного и довольно дорогого пиджака. Пришлось купить новый.

Обнимаю вас. Книжки вышлю. От души желаю благополучия и творческих удач. Готовится ли у Л. С. новая книжка?

Ваш С. Довлатов.

1 мая

Дорогие Лиля и Лева!

Отвечаю, следуя по тексту вашего письма. Иначе что-нибудь упущу и забуду.

Колиных фотографий у нас полно, но все они старые, годовой давности, а детишки в этом возрасте быстро меняются. Недавно Игорек Ефимов фотографировал всех нас. Как только снимки будут готовы, — пришлю.

От прозы Люды Штерн я тоже не в восторге, и более всего меня в ней раздражает тон, состояние неутраченного душевного подъема, безостановочное напористое веселье, оптимизм, граничащий с пошлостью. Но при этом должен

вам сказать, что у Людвы масса поклонников, ее книги сравнительно хорошо продаются, иначе говоря — у нее есть свой читатель. Ну, и дай Бог!

Очень рад, что вы как-то устроились. Я слышал, что в Германии соцобеспечение на высоком уровне. Что же касается комплекса немецкой вины, то его надо эксплуатировать со страшной силой, это абсолютно нравственно, все равно никакими заботами о Друскиных немцы не компенсируют и миллиардной доли своего бывшего скотства. Увы, я принадлежу к тем мягкотелым либералам, которые убеждены, что Третий Рейх был еще страшнее нашего раннего социализма. А впрочем, между чумой и холерой не выбирают.

Поучений Юза¹⁸ слушать категорически не стоит, они всегда лицемерны. Он — необычайно талантливый человек, и это все. Юз — министр собственной безопасности, собственной культуры, и кстати, собственного социального обеспечения. Всю жизнь он канает под амнистированного малолетку, будучи при этом цепким и необычайно практичным евреем. Когда надо, то есть в присутствии нужного человека, он даже материться перестает. Но застольные рассказы его, конечно, сказка!

Среди русских в Америке царит холуйство и перерождение, людей независимых и храбрых можно перечислить по пальцам. Это — Турчин¹⁹, Михайлов²⁰ (русский югослав,

¹⁸ Имеется в виду Юз Алешковский.

¹⁹ *Турчин Валентин Федорович* (1931–2010) — физик и кибернетик, советский правозащитник, участник самиздата. В 1974 г. становится председателем московского отделения «Amnesty International», вследствие чего ему было настоятельно предложено покинуть СССР. В США продолжил заниматься научной и писательской деятельностью. Автор популярной в СССР книги «Физики шутят» (Изд-во «Мир», 1966). Разработчик одного из первых компьютерных языков РЕФАЛ.

²⁰ *Михайло (Михаил Николаевич) Михайлов* (1934–2010) — выходец из семьи русских эмигрантов первой волны, югославский ученый и публицист. После того, как несколько раз подвергался арестам

которого я прозвал «диссидентом с человеческим лицом»), Ефимов, Бродский и еще двое-трое, которых вы не знаете. Американцы — щедрые, легкие, доверчивые, благородные, но мы живем не в Америке, а в эмиграции. Эмиграция же здешняя — помойная яма. Ни в одной советской многотиражке я не встречал такого раболепия перед начальством, как в «Новом русском слове»²¹, ни в одном советском учреждении так гнусно и безнаказанно не глумились над пожилыми людьми, и так далее. Скоро выйдет в «Ардисе»²² моя книжка «Невидимая газета», там кое-что описано.

Надеюсь, бандероль с моими книжками вы уже получили.

Летом я, вероятно, окажусь во Франкфурте. Не знаю, далеко ли это от вашего Тюбингена. Если не очень, может быть, удастся повидать вас, чего бы мне весьма хотелось.

От души желаю вам здоровья и всяческих удач.

С. Довлатов.

Р. С. Хочу добавить, что Копелева²³ я почти не знаю, но читал его книги, и он мне кажется искренним, крупным

при Тито, эмигрировал в США, занимался преподавательской деятельностью, работал на «Радио Свобода».

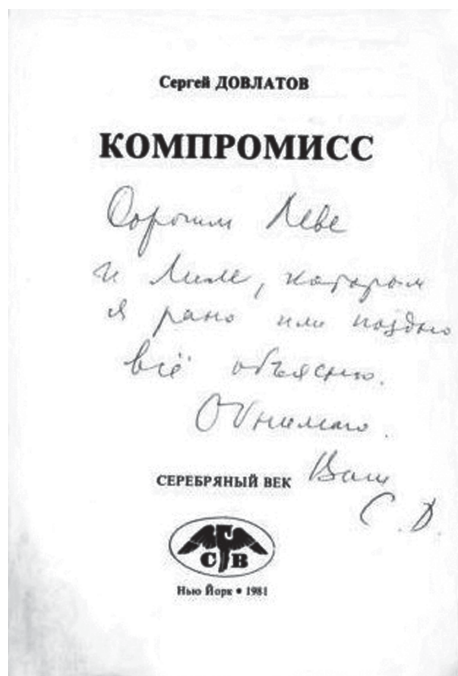
²¹ «Новое русское слово» — ежедневная газета, выходившая в Нью-Йорке с 1910 (первые 10 лет под названием «Русское слово») по 2010 г. Считается газетой, дольше всего издававшейся на русском языке в Зарубежье.

²² «Ардис» (Ardis Publishers) — знаменитое американское издательство, основанное славистами Карлом и Элендией Проффер в 1971 г. Специализировалось на публикации произведений, которые по цензурным соображениям не имели возможности выйти в СССР, а также на переводах значимых текстов неофициальной советской литературы. Чета Профферов содействовала эмиграции И. Бродского в США и его устройству в Мичиганский университет. Название «Ардис» заимствовано из романа В. Набокова «Ада». Публикация его произведений, наряду с изданиями Л. Копелева, — наиболее значимые вехи в работе издательства.

²³ Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997) — литературный критик, литературовед, советский диссидент. В 1945 г. по ложному доносу был арестован, оказался в одной «шарашке» с А. Солженицыным,

человеком. Мне и жена его нравится, и книга ее нравится, несмотря на всю дурацкую и не очень дурацкую критику. Просто наши железные антикоммунисты очень любят ставить человеку в вину те факты, которые они почерпнули из собственных книг. Их бесит не то, что Раиса Давидовна таскалась в ГПУ, а то, что осмелилась об этом рассказать. И так далее.

Ваш С.



Дарственная надпись С. Довлатова Льву и Лидии Друскиным

выступил прототипом Льва Рубина в его романе «В круге первом». В 1956 г. был реабилитирован. В 1980 г. выехал в ФРГ, на следующий год был лишен советского гражданства. Являлся профессором Вуппертальского университета и почетным доктором философии Кельнского университета.

31 июля

Дорогой Леван!

Я почти все время торчу в горах, мы сняли так называемое «бангало», напоминает пресловутое жилище Ленина в Разливе, так что в Нью-Йорке бываю мало и пишу коротко.

Все, что Вы пишете о моих книжках — верно, повторы имеются, засилье главного героя налицо, и я уже начинаю с этим бороться. В двух последних рассказах («Грани» — «Лишний», и «Континент» — «Представление») лирический персонаж отодвинут на задний план. Сейчас я пишу любовную историю от третьего лица, что непривычно и мучительно.

То, что у моего сына изменена фамилия — литературное вранье. Все даты рождения напутаны из суеверия. Когда пишешь о реальных близких людях, возникает масса подсознательных фиговин.

О Ваших стихах здесь говорят с уважением, объединяя в одну компанию Кушнера, Друскина, Липкина и Самойлова. Компания не из худших.

Евтушенко с Вознесенским, действительно, шастают по Америке, но никого домой не зовут, это легенды. Оба они — старые, бесстыжие, кривляются, заигрывают с публикой, оба похожи на Дуремара из «Буратино» или на проходимцев из «Швамбрании»²⁴. Я был на их выступлении, изнемогал от неловкости, ощущение такое, как будто у вас в гостях сидят университетские приятели, и вдруг являются армянские родственники, за которых ужасно стыдно, хотя вы этих родственников любите больше, чем гостей. Короче, выступление было самое позорное, глупое и лживое.

Я еще готов поверить, что будут звать на родину бессловесных валютных гениев — Барышникова и Росто-

²⁴ «Кондуит и Швамбрания» — повесть Льва Кассиля, написанная в 1928–1931 г. Переработанное издание вышло в 1955 г.

повича, но пишушие никому не нужны. Ведь ясно же, что первое условие пишущего человека будет: «Издайте мои книжки, а потом я буду думать и решать». Хотя легенды об агитации домой бродят и тут, и даже такой умный человек как Бродский сказал мне с грустью: «Солжа позовут, а меня никогда». Пусть не расстраивается, Солжа тоже никуда не позовут.

Не думаю, что Гранин и Окуджава кого-то агитировали, расспросите подробнее тех, кто с ними виделся.

На этом обнимаю Вас и Лилю.

Да, Вы спрашиваете, что, где и когда у меня выходит. Вышла в «Ардисе» книжка «Ремесло», которую я Вам вышлю в течение 3-х дней, у Ефимова зимой выйдет повесть «Чемодан», у Марьи Синявской²⁵ — коллективная тройная книга (Бахчанян, Сагаловский, Довлатов) «Демарш энтузиастов». По-английски в октябре выходит «Зона», а через год «Наши». «Заповедник» я даже не стал переводить, ибо лучшее, что там есть — ненормативные русские голоса. Кое-что у меня появляется в американских журналах, в одном из них, в разделе «Коротко об авторах», я прочитал, что я — «известный писатель». Им видней.

Целую. Ваш С. Довлатов.

30 октября

Дорогие Лиля и Лева!

Что касается Гека, то я вас понимаю лучше, чем многие другие. Месяца полтора назад мы вынуждены были усыпить нашу Глашу²⁶. Ей было 16 (!) лет, она перенесла две операции,

²⁵ Имеется в виду жена А. Д. Синявского Мария Васильевна Розанова.

²⁶ Глаша (Глафира, Глафурия) — любимый фокстерьер С. Довлатова, встречающийся во многих его произведениях. По словам писателя, Глаша «расцветкой напоминает березовую чурочку. Нос — крошечная боксерская перчатка... Короче, Глаша была неотразима». В 2021 г. в Петербурге Глаше открыли сдвоенный памятник, одна

не могла есть и ходить. Смотреть на это все было жутко, и я все думал, кого мы избавим от страданий, усыпив Глашу — себя или ее? Но врач со мной долго беседовал, сказал, что в Америке действительно мощные организации в защиту животных, во главе которых стоят жены бывших президентов, и это гарантия того, что все ветеринарные службы работают на самом высоком уровне и оснащены самыми современными препаратами. В общем, он убедил меня, что это делается в ее интересах, а не в наших. Тем не менее, у меня до сих пор чувство вины, и я оправдываю себя тем, что я — самый бесчувственный в семье, а усыпили мы Глашу ради нее самой и ради матери моей, которая буквально сходила с ума, все время плакала, при том, что ей 78 лет, и она большой человек. Ну, и так далее.

Вообще, после лета на нашу семью свалились бесчисленные неприятности, мать и отец больны, но у них хоть есть медикейд²⁷, то есть, право на медицинскую помощь, а у Лены и у наших детей никаких медицинских покрытий нет, все они хлипкие и часто прихварывают, а сейчас, конкретно, больны все, кроме меня, лечиться же за деньги в Америке — самоубийство. Один я, к стыду своему, абсолютно здоров, видно, как следует пропитан «Солнцедаром»²⁸.

Помимо этого есть и другие беды. Резко сократились заработки на «Либерти», надо всерьез думать о пропитании, литературой же я почти ничего не зарабатываю. Недавно

часть которого находится рядом с памятником Довлатову на ул. Рубинштейна, 23, другая — в сквере на Загородном проспекте, 15.

²⁷ Медикейд (англ. Medicaid) — программа государственной медицинской помощи неимущим гражданам США, осуществляемая властями отдельных штатов при поддержке федерального бюджета.

²⁸ «Солнцедар» — красное крепленое вино, выпускавшееся Геленджикским винзаводом с конца 1950-х гг. и до начала антиалкогольной кампании в 1985 г. Отличалось дешевой и низким качеством, при этом пользовалось популярностью, в том числе в богемной среде того времени. «Солнцедар» запечатлен в произведениях Венедикта Ерофеева и Тимура Кибирова.

вышла «Зона» по-английски, уже есть две приличные рецензии (а на «Компромисс» было 40 штук), но, как и раньше, ничто не предвещает коммерческого успеха, американцы плюют на импортную литературу. И беда не в том, что я ни шиша не заработаю, а в том, что от меня в конце концов могут отказаться — агент, переводчик и издательство. Вся эта троица у меня пока что самого высокого разряда. Леве сообщите, что у меня один агент с Алленом Гинсбергом²⁹, который (Гинсберг), кстати, тоже не приносит агенту никаких доходов, то есть, его держат из жалости. Добавлю, что этот самый Гинсберг, гид моей дочери по всяким засраным джаз-клубам — монстр, развратник и неряха.

Ксане привет от Левы передам, она теперь домовладелица, имеет мужа Мишу — программиста и дочку Юлю. К сожалению, она очень напоминает нашего общего отца двумя фамильными чертами — бессмысленным трудолюбием и взволнованным отношением к пище. В остальном она вполне хороший человек — добродушная, честная и веселая. Я же унаследовал от папаши — пьянство и больше ничего, зато в таком гигантском объеме, что все остальные его качества мне не передались, не было места.

В общем, жизнь у нас не очень веселая, тут не до Европы, я и по Америке езжу неохотно, все эти поездки в конечном счете убыточны, тратишь в разъездах больше, чем платят за лекции, дорога, конечно, оплачивается, но путешествия, как таковые, меня не интересуют.

Извините за мрачное письмецо, я понимаю, что жаловаться вам на свои беды — нахальство, но так уж устроен человек.

Что касается застенчивого человека Давыдова, то пусть задает любые вопросы в любой самой бестактной форме, а приехав в Нью-Йорк, пусть остановится у нас. Кстати,

²⁹ *Ирвин Аллен Гинсберг* (1926–1997) — американский поэт и журналист, наряду с Д. Керуаком и У. Берроузом один из основателей битничества, ключевая фигура американской контркультуры 1960–1970-х гг.

в нашем районе, где живет 7.000 евреев с Украины, никто никогда не видел ни одного застенчивого человека, так что Давыдов будет здесь в новинку.

Знаете ли, что Бахчанян³⁰ написал повесть «О том, как поссорился Иван Денисович с Александром Исаевичем»?

Не забывайте. Обнимаю.

Ваш С. Довлатов.

Юз Алешковский

Дорогой Лева,

Я рад, что ты откликнулся и что ты едешь не на пердьячем пару, а на электрокаре.

Мы тоже живем в провинции, и это чудесно. Е*ал я «публику» и там, и здесь.

Новые твои стихи в журналах мне очень по душе. Гармония их духовна, а духовность гармонична. И есть в них нечто неповторимо личностное, чего не хватает многим известным расп**дьям — представителям так называемой ленинградской школы.

Экземпляры рукописи мемуарной шли мне. Я попробую пристроить ее на хороших для тебя условиях и с сохранением копирайта. ОК? Если хочешь пару-тройку главок отдам в «Н.Р.С.»³¹. Будет гонорар и реклама. Помогу с удовольствием, и не смущайся.

³⁰ *Бахчанян Вагрич Акопович* (1938–2009) — художник и литератор-концептуалист. В 1974 г. эмигрировал с США. Его афористичные высказывания, например, «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», ушли в народ и стали частью поздне- и постсоветского фольклора.

³¹ Вышли три главы в номере за 1982 г. «Новое русское слово» — ежедневная газета, издававшаяся в Нью-Йорке с 1910 (первые 10 лет под названием «Русское слово») по 2010 г. Считается старейшей газетой, непрерывно выходившей на русском языке за рубежом.

Израиль ты должен повидать непрерывно. Слов у меня нет. Роман в душе уже есть. Используй любую возможность. Пусть тебе там устроят выступления. Окупишь дорогу... И до конца дней тебя не покинет очарование особого глубокого и прекрасного рода, по сравнению с которым мучающие нас ощущение суетности и нелепости Мира — говно и старый грош. Можешь поверить мне. Я ведь не турист какой-нибудь...

В Мюнхене сейчас живет Геня Файбусович (Б. Хазанов)³² — 8574467.

Он и его жена — прелестны. А он вообще — интеллигентяга XIX века. Я должен быть в середине января в тех краях. Если ты недалеко — заеду. Ё*нём по рюмке.

О Шурке и Люське³³ х*ли говорить? Рабыни ё**ные. И страшно им. Сил не хватает винить в чем-либо подобных. И даже не в мудрой терпимости дело. Жалость со знаком минус. Нам легче. Мы соответствовали Свободе. Ну, что еще?

Сочинениями постараюсь тебя снабдить. Странное слово — «снабжу».

Кажется, что бздит сноб. Они, кстати, всегда бздят.

Что с дуделем? Что за соцдела у вас? Если пензии — то славно.

А штаты так богаты,

Что мы не замечаем нищеты... (Песня третьего мира).

Целуй жену. Вовремя заряжай батареи.

С Новым Годом! С Рождеством Христовым! Даст Бог — и повидаемся.

Обнимаю, твой ЮЗ.

Печатала как текущие новости, так и литературные произведения эмигрантских авторов.

³² Хазанов Борис (Геннадий Моисеевич Файбусович) (1928–2022) — прозаик, правозащитник, врач, один из видных авторов советского «Самиздата».

³³ На тот момент — преподавательницы Ленинградского театрального института А. Пурцеладзе и Л. Телопова, общие знакомые авторов переписки.

Дорогой Лева,

Не смог ни попасть к вам, ни позвонить. Даст Бог в следующий раз. Читал о тебе в «Р. М.»³⁴ и порадовался. Скоро станешь известным и богатым.

А я так нагулялся по Европам, в суете и пьяни, что вскоре поставлю клизму во все дверки, чтобы очиститься и начать работать.

Писать подробно не о чем. Поверь.

О делах питерских ни хера не знаю. Да, и нет у меня там друзей никого, кроме Романова³⁵.

Такие дела.

Целуй жену.

Будь здоров. Пиши от не хера делать.

Твой ЮЗ.

Дорогие Лиля и Лева,

Не ругайте, что не сразу ответил, запарка. Погода — говно. Довлатов — тоже³⁶. На редкость мелкое и бездуховное животное.

У меня еще легкий за*б в башке.

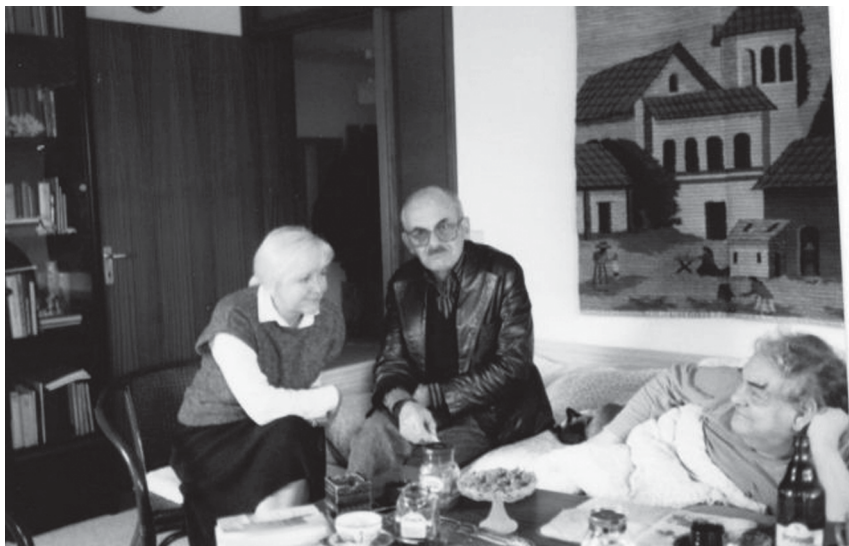
Отправил вам все свои книги и еще кое-какое чтиво. Чувство было еще такое, как будто отправил письмецо. Может быть, скоро буду в BRD после Италии. Заеду.

Трепаться по почте неохота. Леве сочувствую, но... такова уж наша житуха. Куда на хер денешься.

³⁴ «Русская мысль» — зарубежное русскоязычное ежемесячное издание, издававшееся в Париже с 1947 по 2006 г., затем — в Лондоне, а с 2021 г. снова в Париже. Наследовало дореволюционному изданию, основанному в 1880 г. В. М. Лавровым и закрытому большевиками в 1918 г.

³⁵ Имеется в виду Г. В. Романов, глава ленинградского обкома КПСС в 1970–1983 гг., известный гонитель диссидентов.

³⁶ Со своей стороны, Довлатов был тоже достаточно резок в своих суждениях об Алешковском, см. вышеприведенное письмо от 1 мая.



Булат и Ольга Окуджава и Лев Друскин, Тюбинген, 1988

Молюсь за твое здоровье, титан духа, и вообще, за вас обоих.

Не минорьте на родине Гёте, Брамса и Гиммлера. Пишите. Лева, кончай роман. Лиля, держи хозяйство в железных руках.

О себе писать нечего. Чирикаю, но не в форме. Такие дела.

Обнимаю. Привет от моей Ирки.

Ваш ЮЗ.

Дорогие Лиля и Лева,

Я как-то думал: чего это они заочумали?! Не хворают ли?.. И мелькала у меня мыслишка насчет мелких обид. Однако, я ее решительно отбрасывал, поскольку написал чистую правду о неспособности ни писать рецензии, ни халтурить в сей ничтожнейшей из областей благородной

словесности, а также из-за невозможности представить вас обиженными.

Книгу тут все читают, хвалят и т. д., а ситуация с просвещенной критикой в эмиграции весьма омерзена, а может и вполне нормальна.

В России издавна критика стала государственным делом, и ё**ные критики правили модами и вкусом с заправкой умов и душ всякой вульгарной х*етой и бесовский пи**опляской.

Мне даже так называемые приличные критики остох*ели из-за неистребимости в ихнем стиле и образе мышления мелконагловатой гордыни существ, не способных к творенью. Я и Дьявола (пусть Лева извинит меня за метафизику) считаю первым, так сказать, критиком, сосал бы он тухлый wurst в Восточном Берлине, в расположении советской воинской части.

Есть же истинные философы литературы и прочих искусств, но они, как правило, рецензий не тискают, а ловят свой кайф в предгорьях Олимпа.

И творят, а не бесстыдно интерпретируют сотворенное, выискивая в нем мандавошек, глистов и прочую живую атрибутику сотворенного другими.

Вспомните жалких критиков Бытия и разных евонных неудобств...

Но хватит о них. Хотя мало что так веселит меня и будоражит как беспощадное издевательство над чванливым мурлом хамской изначально, а потому и окостеневшей в привычной наглости и бездарности музой Критики...

Вот и сейчас делать-то мне не х*я, потому что занятия со студентами делают писателей импотентами, и я сам становлюсь критиком ё**ной критики, хотя трудно удержаться от сего пошлого занятия из-за безделья.

Все логично...

Рад, что товарищи люди относятся к вам сообразно, редчайше проявляющемуся в них Дару добра, благодарности

и свободы. А все остальное — говно, в лучшем случае — Судьба или отвратительно серая довлатовщина...

Мне понравилось Лилина реплика насчет пылесоса, гульнувшего по Швейцарии. В СССР просто не во что включить его, как я полагаю, по причине сплошной электрификации...

Новый журнал мне частично интересен.

Издание стихов — дело абсолютно гиблое. Все печатают на свои бабки. Пущай Левка попросит товарища Копелева³⁷ снять свои заслуженные чресла с одного из вы**анных им германских фондов, а я помогу с дешевым набором и с печатью. Будет % на 30 дешевле, чем у начинающей акулины бизнеса — И. Ефимова³⁸.

Кроме всего прочего, по бедности можно самому отпечатать набор на взятой где-нибудь ай-би-эм. И книга будет баснословно дешевой в издании.

Остальное — дело весьма простое, не говоря о том, что через пару лет книга так или иначе окупится. Поверьте мне. Не страшитесь суеты с рассылкой, распродаже и т. д. Все это — как два пальца обоссать после ремонта левкиной урологии. Подумайте как следует. И не будьте унылыми му*илами в этом плане. Если я буду знать количество страничек — смогу сказать точно цену типографии. У меня есть одна, для друзей, тут под боком, где я «К»³⁹ издал.

Разумеется, я, как не деловой в отличие от ИЕ⁴⁰ человек, не возьму за хлопоты вознаграждения и пышных комисси-

³⁷ По словам Лидии Друскиной, выпад Алешковского в адрес Копелева несправедлив: Лев Зиновьевич с помощью своего друга Генриха Белля помог организовать эмиграцию четы Друскиных в Германию, способствовал устройству жизни в Тюбингене и изданию сборников Льва Савельевича.

³⁸ См. прим. 16.

³⁹ Имеется в виду, по-видимому, роман «Карусель», изданный в издательстве «Писатель-Издатель» в США в 1983 г.

⁴⁰ Игорь Ефимов.

онных. Не бздите, господа, погрузимся. (Любимое выражение кондуктора Харона).

Других путей нет. (Его же выражение).

Все. Пока. Мечтаю снова поглазеть на Европу. Пишите. Не болейте. А если уж болеете, то с непременноим приматиком Духа над несовершенною плотью.

Привет от Ирки, Леши, Иосифа и трех внуков Керенского, слезно умолявших меня ходатайствовать перед вами о частичном хотя бы извинении ихнего дедульки за его неудачное кокетство с левыми в 1917 г.

Они же рассказали, как служители морга, в котором ошивался дедушка Саша, удивлялись феноменальной бесхребетности этого политического трупешника. На сей мажорной ноте — наш вам поклон, обнимпривет и искренняя молитва за всякие облегчения вашей житухи.

Целую, ЮЗ.

Приписка от руки: Вот что значит: делать не х*я. Письма катаю...

Дорогие Лиля и Лева,

Мы вас — с новым годом и дай Бог не хворать, а участвовать в олимпийских играх в 1986 году в Сеуле⁴¹ хотя бы в качестве политических наблюдателей.

Зря ты, Лева, собрав бабки, печатаешь книгу в Германии. Я бы тебе все сделал по дешевке. Но ладно. Главное — чтобы вышла книга.

Я дописал новый роман. «Смерть в Москве»⁴². Извини за ошибки: похмелюга и отвычка печатать, потому что ездили во Флориду загорать, где я ибо обленился в сосиску.

⁴¹ Опечатка автора — олимпийские игры в Сеуле проходили в 1988 г.

⁴² Роман, главным действующим лицом которого является Лев Мехлис, написан в 1985 году и в этом же году издан в Нью-Йорке (Chalidze Publications).

По-вашински — в вурст. Твои мне вурсты огневые... одним словом.

Когда, дорогие, я пытаюсь представить и сопережить хоть мысленно все, выпадающее на вашу долю, то я, пардон, о*уеваю и верю, что неспроста изводит жестокий Рок долготерпеливую вашу плоть и что вознаградят вас в следующих жизнях за страдания и хвори полной беззаботностью, вдохновенной ветренностью, пышущими избытком здоровья телами, которые вы и поистаскаете годам к семидесяти в путешествиях, любовных битвах, обжорствах и разного рода негубительных страстях.

Это уж ваше дело улыбаться, испытанными в скептическом умозрении, улыбками старых атеистов. Я глубочайше верю в то, что говорю и предсказываю. И когда в будущем вы ни с того ни с сего испытаете вдруг чувство странной вины и стыда в разгаре покоя и воли, то знайте уже сейчас: вас чудесно пронзит сожаление о прошлой скептыге. Знайте это уже сейчас... И помолюсь-ка я тоже сейчас за то, чтобы выдали вам Ангелы авансом в этой жизни освобождения от хворей и бунтов внутренних органов. Я многое прощаю людям (устаешь ведь от людского б**дства и феноменальной вражды) за то, что есть у вас друзья с добрыми душами и страстью сделать вашу житуху легче и разнообразней. Мой им поклон искренний и глубокий.

Собираюсь писать повесть «П**дец». О репетиции конца света в городишке Брежнев, что на далеком Урале, в глуши лесов и оборонных заводов. Об этом — молчок.

Целуем. ЮЗ.

Подготовка публикации Д. У. Орлова

Об авторах

Грякалов Алексей Алексеевич — доктор философских наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института философии человека Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Грякалова Наталия Юрьевна — доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук, руководитель Группы по изданию академического Полного собрания сочинений и писем Александра Блока.

Демидова Ольга Ростиславовна — кандидат филологических наук, доктор философских наук, профессор кафедры философии ЛГУ им. А. С. Пушкина и международных программ Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалист по истории и культуре русского Зарубежья. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей, многих российских и зарубежных научных и профессиональных ассоциаций.

Котельников Владимир Алексеевич — доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской Академии наук. Впервые осуществил (совместно с О. Л. Фетисенко) текстологическую подготовку и комментирование наследия К. Н. Леонтьева, академическое собрание сочинений которого вышло

под его редакцией; им издано также полное собрание сочинений А. К. Толстого.

Кузнецов Павел Вениаминович — писатель, философ, критик, автор многочисленных работ по истории русской и западной философии, литературы, кинематографа. Соредактор философского журнала «Ступени». Член Санкт-Петербургского Союза и Союза Российских писателей.

Малинов Алексей Валерьевич — историк русской философии, доктор философских наук, профессор кафедры русской философии и культуры СПбГУ, профессор кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А. И. Герцена, ведущий научный сотрудник СИ РАН — филиал ФНИСЦ РАН.

Щербинина Ольга Григорьевна — культуролог, публицист, эссеист, исследователь уральской фольклорной традиции, автор публикаций о творчестве М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Д. И. Хармса, переводов Поля Валери.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	5
<i>Владимир Котельников</i> Преступление у Достоевского	7
<i>Алексей Малинов</i> Исторический нигилизм Николая Морозова	41
<i>Павел Кузнецов</i> Анархия и утопия: князь Кропоткин, граф Толстой и Нестор Махно	68
<i>Наталия Грякалова</i> Александр Блок и Школа журнализма (по архивным и газетным материалам)	87
<i>Ольга Демидова</i> Поэтическая география русского рассеяния	121
<i>Ольга Щербинина</i> Метаморфозы Старухи	151
<i>Алексей Грякалов</i> Поэтическая герменевтика времени (О поэзии Дмитрия Ивашинцова)	165
<i>Сергей Довлатов, Юз Алешковский</i> Из писем Льву и Лидии Друскиным	199
Об авторах	223

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЛЕТЕИЯ» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ

в Санкт-Петербурге:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН Санкт-Петербург, Литейный пр., 57 8 (812) 273 50 53	«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» (с 10:00 до 22:00) www.podpisnie.ru
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 23 8 (911) 977 40 47	«ВСЕ СВОБОДНЫ» (с 12:00 до 22:00) www.vse-svobodny.com
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН Санкт-Петербург, Невский пр., 66 8 (812) 640 44 06	«КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ» (с 10:00 до 22:00) www.lavkapisateley.spb.ru
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 9 8 (812) 571 20 75, 8 (812) 312 52 00	«СЛОВО» (с 11:00 до 20:00) www.slovo.net.ru
ФИЛОСОФСКИЙ КНИЖНЫЙ Санкт-Петербург, Дмитровский пер., 4 8 (921) 914 45 44	«ДАЛЬ» (с 11:00 до 21:00) umozrenie.com
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 105 8 (812) 365 41 38	«ПРОФИ» (с 10:00 до 19:00) vk.com/profknigaspb
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ Санкт-Петербург, Невский пр., 177 8 (812) 643 77 43	«НЕВСКИЙ, 177» (с 10:00 до 20:00) www.vk.com/dpcspb

в Москве:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН Москва, ул. Тверская, д. 8, стр. 1 8 (495) 629 64 83, 8 (495) 797 87 17	«МОСКВА» (с 09:00 до 24:00) www.moscowbooks.ru
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН Москва, ул. Тверская, д. 17 8 (495) 749 57 21, 8 (495) 629 88 21	«ФАЛАНСТЕР» (с 11:00 до 20:00) www.falanster.su
КНИЖНЫЙ МАГАЗИН Москва, Пятницкий пер., 8 8 (495) 951 19 02	«ЦИОЛКОВСКИЙ» (с 11:00 до 22:00) www.primuzee.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Москва, ул. Мясницкая, 20
8 (495) 772 95 90 доб. 15429

«БУКВЫШКА»

(пн.–пт. с 10:00 до 20:00, сб. с 10:00 до 19:00)
www.bookshop.hse.ru

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Москва, ул. Чайнова, 15
8 (495) 250 65 46

«У КЕНТАВРА»

(пн.–пт. с 10:00 до 19:30, сб. с 10:00 до 17:00)
www.rsuh.ru/kentavr

КНИЖНЫЙ КЛУБ

Москва, 1-Останкинская 55, 2 этаж, место 96
8 (495) 688 54 22

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР РМ

(с 10:00 до 18:00)
www.marketbooks.ru

КНИЖНАЯ ПАЛАТА

Москва, Пятницкая, 6/1 стр. 3
8 (996) 710 96 90

В ЧЕРНИГОВСКОМ

(пн.–пт. с 10:00 до 20:00, сб.–вс. с 11:00 до 17:00)
teletype.link/bookchamber

в Минске, Риге:**КНИЖНЫЙ МАГАЗИН**

Минск, ул. Казинца, 123, оф. 4
+375 17 338 95 23

«ЭПОСЕРВИС»

www.tregross.com

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

Kr. Varona iela 45/47, Rīga
+371 67315727

«Intelektuāla grāmata»

(пн.–пт. с 10:30 до 19:00, сб. с 11:00 до 18:00)
www.merion.lv

Электронные книги:**ДИРЕКТ-МЕДИА**

www.directmedia.ru

ЛИТРЕС

www.litres.ru

Университетская библиотека ONLINE

biblioclub.ru

БИБЛИОРОССИКА

www.bibliorossica.com

Интернет-магазины:**КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МОСКВА»**

www.moscowbooks.ru

OZON

www.ozon.ru

WILDBERRIES

www.wildberries.ru

ЯНДЕКС МАРКЕТ

market.yandex.ru

NATASHA KOZMENKO BOOKSELLERS

www.nkbooksellers.com

ESTERUM

www.esterum.com

БУКВОЕД

www.bookvoed.ru

ЧИТАЙ ГОРОД

www.chitai-gorod.ru

MY-SHOPRU

www.my-shop.ru

СТРАНСТВИЕ ИДЕЙ

Главный редактор издательства
Игорь Александрович Савкин

Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Художник *Д. Д. Ивашинов*
Оригинал-макет *Н. Л. Балицкая*
Корректор *Д. Ю. Былинкина*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»

Заказ книг: тел. +7 (921) 951-98-99,
e-mail: fempro@yandex.ru, Савкина Татьяна Михайловна
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 А, оф. 536, 532

Редакция:
e-mail: aletheia92@mail.ru

www.aletheia.spb.ru

Книги издательства «Алетейя» можно приобрести

в Москве:

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
«Фаланстер», ул. Тверская, д. 17. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
Книжная лавка «У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6
Тел. (495) 250-65-46, +7-901-729-43-40, kentavr@kpole.ru

в Минске:

«Эпосервис», ул. Казинца, д. 123, оф. 4.
Тел. +37 517 338 95 23, www.tregross.com

в Риге:

«Intelektuāla grāmata»
Rīga, Kr. Varona iela 45/47. Tel. +371 67315727, info@merion.lv

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60x90¹/₁₆. Усл. печ. л. 15.

РУССКИЙ



ХРОНОТОП

Владимир Котельников

Алексей Малинов

Павел Кузнецов

Наталья Грыкалова

Ольга Демидова

Ольга Щербинина

Алексей Грыкалов

Сергей Довлатов

Юз Алешковский



aletheia.spb.ru

ISBN: 978-5-00165-711-8

